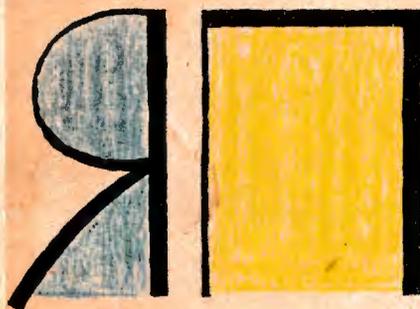


Н. Н. МИХАЙЛОВ • З. В. КОСЕНКО • •



Авторы книги «Японцы» — писатель-путешественник, лауреат Государственной премии Н. Н. Михайлов, известный читателям по книгам «Над картой Родины», «Иду по меридиану», «Моя Россия», и доктор медицинских наук З. В. Косенко. Несколько лет назад они выступили с путевой повестью «Американцы». Вернувшись из поездок по Японии, Н. Н. Михайлов и З. В. Косенко написали в соавторстве вторую путевую повесть — «Японцы». Книга эта построена необычно. Авторы были в Японии в разное время года, встречались с разными людьми и в повести излагают свои впечатления в форме диалога. Они рассказывают друг другу об увиденном, обсуждают сложные вопросы противоречивой японской действительности, нередко спорят друг с другом, прежде чем окончательно ответить на тот или иной вопрос. Диапазон их наблюдений очень широк: природа Японии с действующими вулканами и цветущими вишнями, своеобразный японский быт, где традиционные черты еще сохраняются наряду с самой современной электронной индустрией, разговоры с писателями, врачами, артистами, рабочими, крестьянами, американские базы, судьба японской женщины, положение молодого поколения, японское искусство, подъем революционного движения. Все это представлено в повести не описательно, а служит предметом вдумчивого анализа, поданного в живой художественной форме.



Н. Н. Михайлов • З. В. Косенко •



Японцы





СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1965



Н.Н. МИХАЙЛОВ



З. В. КОСЕНКО



ПУТЕВАЯ ПОВЕСТЬ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Книга иллюстрирована
репродукциями картин
современных японских художников
и видовыми фотографиями,
снятыми авторами во время поездок.

Художник
С. М. ПОЖАРСКИЙ

Недавно, после тридцати лет литературной работы и тридцати лет женатой жизни, я неожиданно написал книгу не один, а вместе с женой — путевую повесть «Американцы», рассказ о нашей поездке по США. Возможно, это произошло потому, что предмет был в равной степени необычен для нас обоих — для советского литератора и для советского врача. Или нам показалось, что разные глаза при согласном образе мыслей способны видеть более объемно, более стереоскопично?..



Ведь, может быть, недаром из книг о поездке в СССР по крайней мере четыре написаны мужем и женой: в Англии — общественными деятелями Сиднеем и Беатрисой Уэбб, в США — современными прогрессивными публицистами Скоттом и Элен Нириг, в Канаде — Дайсоном и Шарлоттой Картер, во Франции — супругами Вюрмсер.

Сейчас идет борьба за бескровный путь состязания двух миров, и нам кажется, что нужны книги, содержащие оценку заграницы. Поэтому после книги об Америке мы решили написать еще об одной стране, с нами сопредельной, в современной обстановке очень важной, — о Японии.

После предварительного изучения Японии мы через Союз писателей подали в японское посольство ходатайство о визах, а сами отправились прививать холеру. Холерная прививка требовалась для транзита через страны, лежащие на пути в Японию.



Наивность наша была наказана: когда мы оба дрожали и горели в лихорадке, телефон сообщил, что Япония нам в визах отказала. И отказала наотрез, без всяких объяснений.

Погоревав, что холеру привили мы зря, что совместная поездка не удалась, мы все же решили не сдаваться и, если уж того желает японская администрация, при первой возможности ехать в Японию врозь.

Более того того — захотелось неудачу обратить на пользу,

Мы подумали: в творческих делах именно трудности толкают на поиски. Хорошо, будем смотреть на Японию порознь, а написать попробуем все-таки вместе. Не только разные глаза, но и разное время года, разные города, разные встречи...

Вскоре жена съездила в Японию с группой советских ученых, а позднее и я побывал там в составе делегации писателей.

Нам хотелось открыть перед читателем трудный, подчас мучительный процесс понимания, постижения сложной противоречивой страны. Формой для этого мы избрали диалог. В разговоре мы могли и соглашаться и спорить друг с другом.

К разговору каждый раз приходилось долго готовиться. Читали книги и японскую прессу, снова просматривали свои дневники и фотографии, советовались с японоведами, обменивались письмами с японцами, встречались с теми из них, кто приезжал в СССР.

В технике самого разговора нам помог магнитофон. Мы запасли пленку, наметили главы-проблемы и, постепенно вживаясь в непривычную работу, сопоставляли впечатления.

Дело это заняло многие месяцы. С утра жена уходила в клинику, а я садился переписывать с пленки и редактировать вчерашний отрезок диалога.

Хотя попытки и рождаются из трудностей, но трудности остаются трудностями. Не знаю, в какой мере удалось нам с ними справиться.



Н. Н. Михайлов



К. Ну, попробуем! Начнем разговор. Забудь о магнитофоне. Кто первый?

М. Вертится эта штука и мешает... Начинай ты! Ведь ты первая увидела Японию. Пожалуйста, с самого начала. Постараемся, чтобы у нас были не только рассуждения, но и само путешествие.

К. Вот мы прилетели... Сейчас уже привыкла, а если подумать — пересекла полмира и опустилась на Японских островах. Ведь ездить по свету не моя профессия.

М. Будем приводить факты. Чтобы сплошь факты!

К. Хорошо. Перед Японией была встреча Нового года в Бомбее. Катание на слонах в Джайпуре. Прозрачный, одухотворенный мавзолей Тадж-Махал. Видела живого тигра в лесу между Джайпуром и Дели...

М. Живому тигру, пожалуй, не поверят.



К. Но ведь верно же! Можно спросить профессора Сушкину. Полосатый, поздно вечером в луче фар перебежал до-рогу. А ты видел тоненьких стюардесс с кукольными личиками на аэродроме в Гонконге? У них на узкой юбке раз-рез до самого бедра.

М. Ты отвлекаешься, говоришь о пустяках и торопишься. Так, пожалуй, мы ничего не напишем. Уж если хочешь, у них на юбках два разреза, на обоих бедрах... Будем обра-щать внимание на более существенное. Я, например, заме-тил там самолеты с надписью «U. S. Army. Taipei». В Тайбэе сидит Чан Кай-ши.

К. Ну, начну сначала. Как тебе с «ТУ-104» показались Гима-лай?

М. Знаешь, невысокими. Смотрел ведь на них сверху, а не сбоку. Впрочем, справа, в хребте Каракорум, отыскал вер-шину Чогори. В школе ты зубрила «Годвин-Остен» — это ее прежнее название. Как-никак вторая в мире. Эверест остал-ся где-то слева, вдалеке. Так и не знаю, видел ли его.

К. А я вспоминала роман Хилтона о буддийском монасты-ре Шангри-ла в Гималаях. Казалось, даже нашла его в ко-ричневой долине среди снежных гор. Хотелось, чтобы и у меня в этот час полета время остановилось, как у той девушки, которая жила там, оставаясь навсегда молодой и счастливой... В Индии на чей самолет пересел?

М. На голландский. Тотчас получил ноты зальса, чтобы петь по-английски: «Невеста и жених, мы летим на медовый ме-сяц от тюльпанов Амстердама к цветущим вишням Япо-нии...»

К. Господи, как жаль, что летели не вместе.

М. В Москве, ты помнишь, я ушел к самолету по снегу, а в Дели воздух был раскален, в Банкоке — распарен. Бан-

кок — это Таиланд, одна из стран СЕАТО. Весь час звено реактивных истребителей отрабатывало взлет и посадку. Я увидел на веранде модернистского аэровокзала синтетические кресла...

К. Я их видела сама, об этом можешь не рассказывать.

М. Придется сделать уступку. Видела — ты, а читатель? Не забывай, что, разговаривая друг с другом, мы пишем книгу. После Банкока всматривался сверху в джунгли Лаоса...

К. Больше красок! А где сравнения?

М. Требуешь сравнений? Филиппинские острова, когда там опустились, напомнили мне ландшафт Кубы. Увидел вокруг Манилы такие же пальмы, такие же плантации сахарного тростника, такое же католическое барокко. И уловил испанский говор. Это понятно: следы испанской колонизации — хоть и в разных полушариях, но в сходных широтах и в сходном климате. А ныне пути разошлись...

Нужны краски? Вот: в Пном-Пене, столице Камбоджи, попали в ночную тропическую грозу — сквозь ливень и зеленые молнии рассмотрел бритоголовых бонз в оранжевых тогах и девушек в белых нейлоновых блузках и в черных полотнищах — юбках до пят.

К. В Гонконге до бедер, в Пном-Пене до пят! Теперь моя очередь ловить тебя на пустыжах. Не отвлекайся. Скажи лучше, о чем ты думал, когда летел в Японию? Мне в то время... Может быть, наивно, но казалось, что я всю жизнь стремилась попасть именно в эту страну. Представлялся слегка наклоненный женский силуэт в кимоно. Очертания пагод. Вазы с цветными глазурями... Расспрашивала врача-японку, которая возвращалась из Индии домой. Вспоминала трехстишья Басё, смутные новеллы Акутагава... Мне дума-



**Перед при-
землением**

лось, что я знаю японцев. Замкнутость, эстетизм, трудолюбие, беспокойный ум...

М. Понимаю, хотелось самой решить трудную задачу. Узнать, сойдется ли с ответом...

К. Я говорю сейчас, что чувствовала тогда и что ожидала увидеть. Распластанную сосну, как на картинах Сессю. Красавиц с гравюр Утамаро в золотистом солнце среди утренних маков. Нежный бамбук и волну Хокусаи... Ты не улыбайся. Ведь это тебе не Америка, в сущности довольно понятная, а экзотическая страна Востока, полная тайн и неожиданностей.

М. Все это у тебя как-то отвлеченно, идиллично...

К. А ты-то сам почему мне не отвечаешь? В твоей душе что было?

М. Не просто ответить. Конечно, эти образы искусства — привычные, идущие с детства... Книги о Японии, которые разожгли интерес к ней... Обидный отказ впустить нас вместе... И вот хоть и без тебя, а еду!

Тут же болезненное чувство прошлого. Когда я был совсем маленьким, над семьей еще тяготела память о глупой, нелепой русско-японской войне. Дядя Саша хромал. Пели «Варяга». Не аллегория тогда слышал мальчик в этой песне.

А потом — ты знаешь, я очень люблю Владивосток. Нигде не чувствую я себя русским так сильно, как там, на самом краю России. И мне нравится японский флаг: красный круг на белом фоне. Ярко, скупое, по-японски. Но мне тяжело представить этот багровый круг на Светланской — так в восемнадцатом году называлась улица Ленина. Тяжело. Не забудешь.

Но вот другое переживание, урок новой морали: осенью двадцать третьего года были мы, старшие школьники, с

экскурсией на Сельскохозяйственной выставке у Крымского моста на берегу Москвы-реки. И — не знаю уж почему — среди павильонов на шесте против нынешнего входа в Парк культуры висел тот же флаг с красным солнцем на белом поле. Японская армия тогда занимала Сахалин, нашу землю. И еще года не прошло, как японцы покинули Владивосток. Но учительница сказала:

— Снимите шапки. Японию постигла беда, там страшное землетрясение, гибнут тысячи людей.

Молоденькая была девушка, а ведь понимала главное, различала вещи...

Впервые с японцами по-настоящему я столкнулся незадолго до поездки в Японию. Посреди пустыни Гоби встретил двух токийских ученых — специалистов по истории Востока. Как они обрадовались!

Ты спрашиваешь, что я думал, когда летел в Токио? Я думал: каких сейчас японцев больше?

К. Ну и как?

М. Япония, как ты знаешь, страна очень сложная. Вся из противоречий. Пока — вот мой намек на ответ: когда я был в Японии, агентство «Дзидзи цусин» провело анкету — и около сорока процентов опрошенных высказалось за нейтральную политику.

Сорок процентов против военного союза с Америкой — это немало.

К. Ты оговорился. Хотел сказать — мало.

М. Нет, я сказал то, что хотел сказать. Немало.

К. Да что ты! Не удивляй меня.

М. А ты не удивляйся. Ведь это напечатано в буржуазных газетах. Опрашивали-то не рабочих — тут дело ясное. Опра-

шивали, так сказать, верхушку общества. Интеллигентов. Влиятельных деловых людей...

К. Тем хуже, что влиятельных. Хорошо влияние — меньше половины.

М. Ну что ж, что меньше половины. Немало, если понять, что это не вся Япония, и если взглянуть исторически. Важен сдвиг: лишь двадцать лет прошло с тех пор, когда многие из этой публики состояли в Ассоциации помощи трону, поклонялись императору, как богу, работали на войну...

К. Прогресса я не отрицаю, но ушел он недалеко и не закрепился.

М. Ты хочешь, чтобы он еще и закрепился! В капиталистической стране. При страшном засилии Америки. Надо исходить не из желаемого, а из реального. Сдвиг большой.

К. Нет, мы с тобой расходимся. Сдвиг, сдвиг... А у меня душа болит за Японию.

М. Поддалась эмоциям.

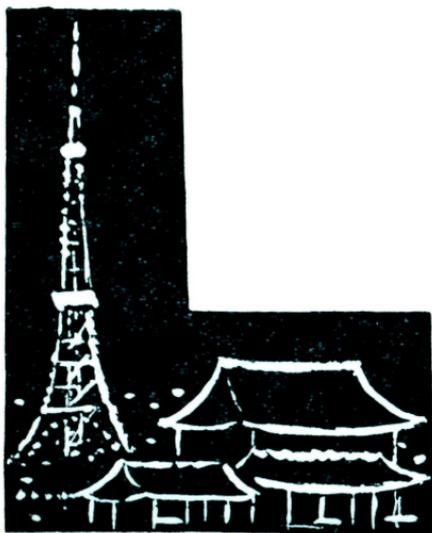
К. А ты какой-то бесчувственный.

М. Может быть, я не бесчувственный, а трезвый.

К. Это не трезвость. Скорее упрямый педантизм.

М. Вижу, что из-за японцев мы с тобой поссоримся. Давай прекратим этот спор и обратимся к фактам.





ДРЕВНОСТЬ
И
ПРОГРЕСС





ТОКИО...

К. Мы прилетели поздно вечером. Вдруг — грузный удар колес о землю, он разрядил напряжение спуска. И напряжение встречи. Побежали назад японские огни. Самолет остановился, дверца открылась...

М. И что же ты увидела?

К. Если говорить правду, сначала я увидела немногое. Вернее — многое, но односторонне.

По ночному Токио нас отвезли из аэропорта в отель — и на меня нахлынула Япония. Я увидела необычайное своеобразие... Погоди, не прерывай. Знаю, что ты скажешь. Я и сама скоро почувствовала, что попалась на удочку, умело и красиво закинутую. У нас в стране ведь тоже заезжие любители жаждут выискать где-нибудь самовар, тройку лошадей и вышитый сарафан...



Отель

Я не сразу поняла, что сервис экзотики в Японии — доходное дело. А японцы, наверно, посмеиваются и потирают руки, когда иностранец пялит глаза и платит деньги.

Дай мне сейчас откровенно признаться: вначале я замечала вокруг только то, что ни в какой другой стране не встретишь. Ванна в номере не длинная, а короткая, и я подумала: это что-то значит. Может быть, она сродни горячей бочке? Прежде в бочках было принято купаться.

М. Почему «прежде»? В японских деревнях я и теперь видел сколько хочешь круглых бочек для ежедневного купания.

К. Ну, тем более. А одеяло! Шелковое, пышное, нарядное, как для придворных дам. Точно о таком мы читали с тобой у американки Алисы Бэкон, а ведь ее книга о японских женщинах вышла в прошлом столетии.

С этого у меня и пошли все мысли. Утром за окном мелькали причудливые иероглифы, слышались голоса праздничной толпы. В новогодней процессии юноши и девушки несли пестрые ленты и шары.

Вышла в вестибюль — вижу внутренний садик, описанный еще у Лоти. Водоемчик с песком, игрушечная пагода, сосенки на скалах, мостик, микроскопические кустики, мраморные фигурки богов или жрецов.

Каждый шаг укреплял меня в мысли: как бы там ни было — глубоки и прочны старые национальные японские корни! В первый день, еще до встречи с учеными, нам предстоял осмотр Токио. Принесли разноцветные буклеты. Заглянула туда — что предлагают посмотреть? Святылища, замки, старинные парки. На картинке — чайная церемония. На другой — улыбки гейш на фоне красных ворот синтоистского храма.

Я рассматривала фасоны ярких кимоно, изображения деревянных раскрашенных куколок — кокэси, рисунки высоких причесок — снова передо мной были старинные японки Алисы Бэкон.

Пошли по городу — ты не знаешь, что такое новогодняя неделя в Японии! Дань традициям и древности. Годы в Японии называются именами животных. Начался «год быка». Чуть не у каждого дома — ветка сосны, сливы, бамбука. На веревке пучки соломы и узкие белые бумажные лоскутки.

М. Ты говорила себе: японцы во всем видят смысл, идущий издавна.

К. Да, сосна приносит долгую жизнь и могущество. Бамбук — символ постоянства и добродетели. Солома, если ее зажечь, дымом отгонит злых духов. На листочках написаны добрые пожелания к Новому году. И написаны обычно в стихах. Красивыми иероглифами. Тушью.

Ты знаешь, как любят японцы дарить друг другу подарки. Но что делается в новогоднюю неделю! В магазинах весело покупают безделушки в необыкновенно нарядных упаковках. Торжественно несут их по улицам. Везут на двухколесных тележках в больших коробках, увитых лентами. С поклонами дарят, улыбаются, еще кланяются — до бесконечности.

Как празднично в районе Асакуса! Магазины освещены. В ресторанах шум. Ветви с цветами, фонари. Меня поразило, что в веселый день японцы вместе с детьми ходят толпами по храмам, гробницам и музеям. И мы ходили тоже. К концу дня я уже знала, как выглядит Будда карающий, Будда благословляющий, Будда дающий. Пересмотрела



множество древних самурайских мечей и кинжалов. Налюбовалась кимоно и прическами.

Прошли по кварталу, где стоят маленькие старые домики с раздвижными стенками. И это в столице!

Нам казалось, что Япония выглядела так же и сто лет назад. Профессор Сушкина охотилась за кадрами, не жалея пленки. Профессор Лурья азартно собирал коллекцию будд и кокэси.

Находившись по городу, зашли в японский ресторанчик. Сняли туфли. Сели на циновки.

Кушанья ели необычайные. В новогоднюю неделю у японцев особая еда. По-особому готовят селечью икру, жареные каштаны, салат из священного лотоса и из желтых лепестков хризантемы. Едят рис с приправой из семи трав, растущих в эту зимнюю пору.

И опять-таки все с древним смыслом. Жареные каштаны означают победу, черные бобы приносят людям силу...

А церемонность в обращении! Неотступная вежливость. Почти театральность поклонов. Какая-то дворцово-придворная пышность и утонченность в приветствиях. Словесная витиеватость. Все это казалось старомодным и даже немного тягостным.

Я была готова к выводу, что Япония — единственная, уникальная страна. Какое-то древнее чудо...

М. Прости. Может быть, достаточно? Пора бы наступить краху твоей идеи.

К. Да, пора. Он наступил как раз тут, в ресторанчике. Около вазы с цветами сидела девушка лет девятнадцати. Слегка набеленное детское личико с розовыми губами, черные блестящие волосы под гребнем в пышной, громоздкой прическе, ласковый взгляд чуть раскосых глаз.



Палевое кимоно в белых хризантемах. Широкий пояс — оби — голубого цвета, с бантом вроде бабочки сзади. На ногах белые носки, большой палец отдельно. Она подавала чашечки к столу, а потом занялась букетом в низкой красной вазе. Долго-долго, пока мы отдыхали и разговаривали, составляла этот букет. Склонилась над ним в необыкновенно грациозной позе...

Вдруг, извинившись, эта японка со старинных гравюр задает мне вопрос по-английски — узнала, что я врач из Советского Союза, и просит подробнее разъяснить ей взгляд Павлова: как приобретенные в жизни привычки в ходе поколений становятся врожденными? Девушка знала о знаменитом опыте с белыми мышами в павловской лаборатории.

Она, Марико, студент-зоолог, будет писать работу о наследственной передаче приобретенного — и просит совета: заняться ли ей мышами или лучше кроликами? И нельзя ли для этого опыта приспособить электронику? Вот, оказывается, чем живет ее кукольная головка!

Потом Марико приходила ко мне в отель — в скромной юбочке, с книгами в узелке, — как ты знаешь, в Японии вместо портфелей красивые шелковые платки — фуросики, очень удобно. И стриженная. По вечерам надевает парик.

У девушки была трудная жизнь. Вечером она работала, днем училась.

Любит Чехова и Лорку. Играет в теннис. Хотела бы поехать в Неаполь посмотреть аквариум, о котором много слышала. Сейчас читает в подлиннике книгу «Павлов и Фрейд» прогрессивного американца Гарри Уэллса.

Ты говоришь: крах моей первоначальной идеи. Да, внезапный крах.

М. Слава богу!

К. Погоди радоваться. Это не тот крах, О каком ты думаешь. Я признаю, что японский Новый год, внезапно нахлынув, одурманил меня. Но случай с Мариико подействовал отрезвляюще. Я поняла: Япония — не заповедник древностей.

Я поняла не только это. Случай с девушкой Мариико убедил меня не в том, что в Японии над старым восторжествовало новое. Напротив. Увидев рост нового, я в то же время остро почувствовала клещи старого. В самом деле — что это за страна, где студентка, чтобы жить, должна прикидываться чем-то вроде гейши? Что это за страна, где новое, чтобы существовать, вынуждено цепляться за старое?

М. Странно ждать другого от Японии, которая еще недавно была феодальной.

К. Сто лет назад — не так уж недавно. Признаться, я ждала большей гармонии. Ведь я знала о высокой культуре японцев, об их энергии... И вдруг такие противоречия. Я ехала в Японию с более или менее ясными представлениями — и вот эта-то ясность и потерпела крах. Все оказалось сложнее.

А что было у тебя?



М. Говоря откровенно, в моей голове тоже была неразбериха. Только другого рода. Я вовсе не ждал гармонии. И я не был во власти старины. Отнюдь нет. Но на первых порах

мне казалось, что дисгармония все поглощает и ни в чем нельзя разобраться. Мне казалось, что вся жизнь Японии без остатка уходит на спор между бытом старым и бытом новым. И я не мог решить, чей голос в этом споре громче. Именно в этом, в борении культур, виделась мне главная проблема.

К. Тем сумбуром, который охватил наши головы в первые дни, мы отчасти обязаны западным книгам о Японии. Много прочитанное в них нужно забыть.

М. Вернее — переоценить, переосмыслить. Одни названия чего стоят. Вспомни, например: Фохт — «Необъяснимая Япония».

К. Есть еще «Таинственная Япония» Стрита. А чем хуже у Андерсена — «Чары Японии». Или у Ангуса — «Япония, восточная страна чудес»...

М. Среди западных были и хорошие книги. Одну ты уже вспомнила — работу американки Алисы Бэкон о японских женщинах.

Или книги англичанина Лафкадио Хёрна, который сжил с Японией. За искренность любви к Японии Хёрну прощаешь и односторонность и прекраснотуше: «Все здесь мягко, мечтательно, тихо, слабо, мило, бледно, призрачно, благоуханно, туманно...»

Но в большинстве книг, идущих с Запада, — высокомерное мещанство.

На меня сильнее всего повлияла русская книга — «Корни японского солнца» Бориса Пильняка. Ведь, когда она вышла, мне было двадцать с небольшим. А книга так поэтична.

К. Какой романтический интерес ко всему японскому разогла она во мне! Гейши, харакири, буддизм...



М. Подумать только: вулканы, будто бы создавшие японский характер! Не прошло и десяти лет, как в «Камнях и корнях» Пильняк сам от первой книги отрекся. Почти проклял ее. В комментариях к собственной книге признал, что ошибся. Что дело не в экзотике. Что Япония выходит на дорогу всечеловеческой культуры.

К. Беспокойно раздумывал вместе с читателем над путями к верному ответу...

Зато, читая «Рассказы о японском искусстве» Константина Симонова, успокаиваешься. Завидуешь, как он хорошо справился с отобранной для себя темой. Наступает ясность, все понимаешь. Рассказал о древнем, вечно живом, бесспорном. Потому и успокаиваешься.

Но читаешь «Японские заметки» Ильи Эренбурга — и снова волнуешься.

М. Еще бы не волноваться. Эренбург увидел сегодняшний день, тревожную душу народа, мучительную запутанность японской жизни, был охвачен сомнениями, спрашивал: где я — в Азии, Европе, Америке? И разрешил вопрос для себя, исходя из глубокой человечности: летишь далеко, а находишь таких же людей, с теми же заботами и радостями. «Все становится понятным, а казалось, ничего не поймешь...»

К. Нет, мне в Японии и сейчас многое трудно понять. Даже Хёрн, который прожил в Японии много лет и написал много книг, в конце признался: «Я изучил Японию лишь настолько, чтобы убедиться, что я совершенно не знаю ее».

М. Не так-то все просто... Сумбур в моей голове — надо сказать, сумбур хоть и беспокойный, но пленительный, интригующий — начался еще по пути с аэродрома. Мы ехали



в двух машинах: в одной — Олесь Гончар, руководитель нашей делегации, и Всеволод Иванов, а в другой — Наири Зарьян, Ирина Львова и я. В автомобиле у нас никак не мог уняться спор. Зарьян допытывался, по каким улицам мы едем. Японоведец Львова отвечала, что у большинства японских улиц нет названий, и Зарьян не желал с этим смириться. А когда узнал, что дома имеют номера, но их обычно на стенах не пишут, он вовсе возмутился — как же японцы находят друг друга? Действительно, это одна из великих загадок Японии.

К. Я тоже не могла поверить, что ее жителям и почтальонам вполне достаточно названия района, названия квартала и ненаписанного номера. Но мало того, что японцы довольны своей гнездовой системой адресов,— они нашу линейную считают странной. В книге профессора Тацуо Курода «365 дней в СССР» написано: «Ленинский проспект в Москве тянется на девяносто с чем-то номеров, где же я должен на этой длинной улице искать тот номер, который мне нужен? Да еще в двадцатиградусный мороз!»

М. Ехали мы по улицам шумным, но, как ты, наверно, заметила, темным. Небольшие японские города почти вовсе не освещены, а крупные освещены не столько уличными фонарями, сколько автомобильными фарами. Здесь ездят не с подфарниками, как в наших городах, а с полным светом. Машин множество, и они слепят тебе глаза. Мчатся навстречу на бешеной скорости, и не с левой, а с правой стороны,— пока не привыкнешь, чувствуешь себя беспомощно-растерянным...

Мерцающий мрак! Зато тем ярче в нем пламенеют рекламы...



Реклама

К. Огромные и разноцветные — сверкают, меняются! Паразитительная выдумка в смене и сочетании красок. Не сравнишь с американской рекламой. На Бродвее огня не меньше, а, пожалуй, больше и в красках столько же яркости, но нет той живописности, изящества, вкуса. Американская реклама сначала удивляет, а вскоре начинает раздражать и угнетать. Она криклива, нервозна и назойлива. Японская — ею любуешься, она даже успокаивает.

М. И я, конечно, сразу подумал, что в современной электрической рекламе, которая запылила передо мной, называется искусство древнего японского фейерверка.

К. Вот, вот! Я же тебе только что говорила: в Японии на первых порах мучит желание всему отыскивать древние корни. Любуешься восхитительным танцем бирюзовых, золотых, пурпурных знаков, видишь что-то загадочно-восточное и не думаешь, что это, может быть, всего лишь попытка сбить подтяжки или виски...

М. Это потому, что мы смотрим на рекламу совсем другими глазами, чем японцы: самый декоративный элемент в ней — иероглифы, а прочесть их мы не можем, и Япония для нас в известной мере остается зашифрованной, таинственной. Тем более в первое время. Наивное стремление обязательно искать древние корни в сегодняшнем дне с новой силой охватило меня в отеле...

К. Не в «Дайити» вас поместили?

М. Нет, в «Кокусай Канко», рядом с новым Центральным вокзалом на Fifth Street.

К. Погоди, откуда взялась эта «Пятая стрит»? Ведь ты сам сказал, что в Токио улицы обычно не имеют названий?

М. А это американцы кое-где окрестили магистрали на правах оккупанта-хозяина для собственных удобств. В Токио на углах я видел таблички: «A Ave», «4-th St.», «Annex Ave»...

Но от японцев этих названий ни разу не слышал.

К. Я тоже не слышала. Ну, как выглядит твой «Кокусай Канко»?

М. Думаю, точно так же, как и твой «Дайити». На ночь дали кимоно — с широчайшими рукавами, но руки с непривычки сразу не проденешь, где-то застревают. В других отелях получали потом два кимоно — одно простое, другое теплое... Я нашел еще в номере туфли, по форме напоминающие деревянные гэта, термос с изображением розового бамбука. И цветы, которые были воткнуты стеблями в игольчатую металлическую подставку, положенную на дно плоской вазы. В гостинице есть особый зал, оборудованный для своеобразного свадебного обряда. Как будто подлинная Япония.

Ноходишь в лифт — лифтер-японец спрашивает, протягивая палец к кнопкам: «Сэр?» Коридорного называют «бой», он тебя приветствует: «Гут ивнинг!» Кондиционированный воздух, жалюзи из пластмассы, стерилизованные стаканы, розетка для электрической бритвы.

Так встал передо мною самый, наверно, обычный, самый банальный из вопросов, какие порождает только увиденная Япония: все-таки что же в этой стране сильнее — неповторимые национальные традиции или универсальные черты

современности? Как новое со старым борется и как — всем на удивление — уживается?

К. Мне приятно слышать, что и ты не уберегся, запутался.
М. Больше всего сбил меня с толку осмотр Токио. Старое и новое чередовались так быстро, что мое восприятие совсем раздвоилось.

Утром японские писатели повезли нас по городу. Он имел уже совсем другой вид, чем вчера. Многоцветные огненные рекламы исчезли.

Праздновался день рождения Будды — 8 апреля. В храмах в этот день священники тихо сливают из чашечек чай на старинные божественные статуэтки...

Первым делом мы прибыли не куда-нибудь, а на площадь перед императорским дворцом. Только-только мое сознание отметило этот факт, как я услышал что-то вроде опровержения, подчеркнутую антитезу:

— Пожалуйста, не подумайте, что мы привезли вас сюда из уважения к персоне императора.

Сзади громоздились многоэтажные здания контор и банков, а впереди, за рвом с зеленоватой водой и плавающими лебедями, за плакучими ивами, за стеной, сложенной из громадных камней, видны были на холме вогнутые крыши старинного замка. Но я уже знал, что этот замок в точности по прежнему образцу отстроен заново.

К. Как типично для Японии: старина препарированная, сыгранная...

М. Именно так думал я потом в городе Кумамото. Там мы пошли смотреть древний замок, один из самых знаменитых в стране. Обилие изощренно изогнутых крыш. Похоже на колонию грибов, которые прирастают к стволу дерева. Рассматривали старинные мечи, шлемы, седла и манускрипты.

Перед императорским дворцом

По крутой лестнице между стропилами и перекрытиями поднялись на верхний этаж. И там я заметил уже не самурайские доспехи, а обыкновенный пылесос. Он заставил меня обратить внимание на пол — пол оказался из пластмассы. Все здание — современная копия прежнего, разрушенного во время междоусобицы сто лет назад. Только одна башенка подлинная, да и та перевезена откуда-то из окрестностей. Посетителей, между прочим, масса.

На площади перед императорским дворцом тоже было много народу, особенно провинциалов. Группы их строго организованы. Передний несет на шесте желтый треугольный флажок с иероглифами.



Мы снова сели в машины и поехали на другую сторону токийского кремля смотреть аллею цветущих вишен. Я объясню, не все знают: японская сакура — совсем не та вишня, что у нас, она не дает съедобных ягод. Ее цветок — символ мужественной души японца. Цветет сакура одну-две недели в апреле. Это время — как национальный праздник. Кульминация цветения в Токио обычно приходится как раз на день рождения Будды.

К. Завидую вам. В такую пору, на лучшее время года, японские писатели пригласили советских писателей...

М. Да, это нужно с благодарностью отметить. Думаю, что



в этом мы прежде всего обязаны вниманию Сейитиро Сакаи, управляющему делами Ассоциации японских писателей. Скульптурное лицо с черной шевелюрой, трубка в зубах... Это человек замечательный — абсолютная организованность и точность при стремлении во всем пойти навстречу. Мало того, что на него в делах можно положиться, — наперед учтены такие твои интересы, о которых ты и сам сперва не догадывался. И что меня особенно в нем подкупало — незаметное, но постоянное сохранение дистанции. Доброта при высоком достоинстве. Смотрит на тебя умными глазами и все с полуслова понимает — но знай: мнение о тебе составлено четкое.

Итак, всех в Японию влекут именно весенние цветы вишен — больше, чем хризантемы и красные листья клена осенью.

К. Хризантемы и багряный клен пришлись на мою долю.

М. Номера в гостинице были нам забронированы чуть ли не с середины зимы. Между прочим, газеты писали, что в одно время с нами полюбоваться цветением вишен прибыл из Парижа некий «русский писатель Степан Строгов». Прибыл он зайцем, в неотопляемом помещении самолета, — был, окоченевший, обнаружен и немедленно выдворен...

Вот на высоком откосе над прудом мы видим аллею цветущих деревьев. Действительно, это древнее чудо Японии. Но мы долго не могли пробиться к древнему чуду сквозь густой поток автомобилей¹. Это — современность, которая снует по Токио и мчится напропалую.

¹ В 1964 году автомобилей в Токио было около миллиона.

Деревья усеяны цветами, подобно веточкам, вынутым из перенасыщенного раствора. Было уже близко к полудню, но тянуло оглянуться, посмотреть на зарю. Казалось, что на белых кристаллах играет розовый отсвет.

От старой японской романтики снова перешли в сегодняшний день: в скоростном лифте вознеслись на телевизионную башню, высота которой 333 метра.

К. Она очень напоминает Эйфелеву. Но та, по-моему, красивее.

М. Для меня та тоже красивее, но я думаю, что это дело привычки. К Эйфелевой мы присмотрелись, а эту узнали впервые.

Но сравнение с Эйфелевой башней у тебя возникло незря. По всему видно, что оно не покидало и японцев. В общем та же конструкция, но на несколько метров выше. Безумно хотелось обогнать Париж и выйти на первое место.

К. Эйфелева башня стоит солидно, а эта вся из тоненьких жердочек.

М. Нет, ты не права. Нужно быть справедливой. Она действительно прозрачнее, но это, наверно, потому, что в наше время сталь прочнее и балки тоньше, чем в дни Эйфеля. А тут японцам нужно было предусмотреть еще землетрясения и удары тайфунов.

К. Некрасивая толстая труба посередине...

М. В трубе мчатся лифты. Признайся, что сначала вертолеты казались безобразными, а сейчас как будто так и надо.

Мы поднялись наверх в один момент. И в окошко видели, как Токио проваливается вниз.

С площадки, уставленной оптическими приборами и аквариумами с тропическими рыбами, обозревали город и



Телевизионная башня

окрестности. Потом по красной железной лестнице, похожей на пожарную, лазили еще куда-то, чуть не на самый верх.

Я заметил, что Токио, сравнительно высокий в центре, очень быстро снижается в стороны — до двух этажей и одного. На горизонте была дымка, ни горы Фудзи, ни дымящегося вулкана на острове Осима не рассмотрели. Зато убедились, что столица Японии слилась с городом Иокогама и стала настоящим морским портом с крупными судами на рейде.

Кроме этих внешних индустриальных форм мы увидели во внутреннем помещении выставку достижений в электронике. С шипением в новейшей печке жарился бифштекс. В ярком свечении на экранах телевизоров — не только больших, роскошных, но и переносных, почти карманных — танцевали балерины в страусовых перьях, наверняка сделанных из какого-нибудь перлона. Были там цветные телевизоры, счетные машины, лиловые, малиновые, розовые телефоны, транзисторные, не больше пачки сигарет, радиоприемники. Их здесь называют просто транзисторами.

Насмотревшись на сегодняшний день техники, отдохали и пили чай в особой комнате на низких креслах перед низким столиком. Тут нам дали лист белого картона. Выдавливая тушь из тюбика, все расписались. Мы — русскими буквами, японцы — иероглифами. И каждая роспись иероглифами была не только росписью, но и изящной картинкой, каллиграфическим этюдом.

Через весь город поехали в его северную часть — в Уэно и Асакуса.

К. О, я помню Басё:



Облака вишневых цветов!
Где-то колокол прогудел... В Уэно
Или в Асакуса?

В парке Уэно вишневые деревья величиной с сосну. Жаль, что я не видела, как они цветут... Зато я знаю, как на одном стебле висит до десяти хризантем разного цвета. М. После телевизионной вышки мы в парке Уэно, в Национальном музее, вновь погрузились в японскую древность: изображения Будды, керамика, рисунки старинных художников на шелке и рисовой бумаге...

Вдруг в окно увидели пеструю толпу среди деревьев на берегу пруда. Это была чайная церемония, знаменитый традиционный обряд, о котором столько читано. Поспешили туда. Перед чашечками, поставленными на циновки, сидят, поджав ноги, женщины и сосредоточенно, вдумчиво друг другу кланяются. И сразу мне бросилось в глаза, что одни творят этот освященный веками ритуал в кимоно, а другие — в модных коротких платьях, и колени, пикантно обтянутые чулками, нисколько не смущают их.

Тут, на асфальтовой дорожке, я впервые услышал стук гэта.

Когда возвращались по парку, один японский писатель прочитал мне маленькую лекцию о буддизме — было видно, что со знанием дела.

К. Нас в Киото до того долго водили по храмам, что газета сообщила: русские поддаются буддизму.

Наверно, писатель сказал тебе, что буддизм определил духовный облик японцев. Об этом мы много читали.

М. С помощью буддизма стремились воспитать в народе непротивление.



К. «Где нет помыслов, там нет нарушения законов...» Вот видишь, я что-то запомнила.

М. Приучали воинов легко умирать.

К. «Быть выше смерти»... Но вот что заметно. Японцы стараются доказать: активность их поведения прекрасно уживается с буддийской пассивностью именно потому, что одно контрастно другому. Говорят: стремление погасить страсти и желания, тяга к покою, освобождение от призраков бытия — все это возникало как реакция на буйство самурайского духа.

М. Когда прямых доводов не хватает, применяется аргументация от контраста. Например: жители Неаполя любят яркие краски. Почему? В соответствии с яркой природой. Жители тундрового Севера любят яркие краски. Почему? В силу реакции на неяркую природу... Но тот человек, который мне в парке Уэно рассказывал о буддизме, вовсе не думал подчеркивать его роль. Со мной разговаривал современник, и мысль его заключалась в том, что буддийское выключение из жизни, стремление к состоянию «му» («ничто») соответствует новейшим лечебным методам западно-европейской и американской психиатрии. Это верно?

К. На Западе любят прописывать больным «relaxation» — расслабление. В отдельных случаях, действительно, отдыхом мышц, снятием напряжения болезнь может быть излечена, но, к сожалению, эту модную пропись там назначают теперь налево и направо. Сделали из нее коммерческую панацею.

М. В заключение я спросил японца:

— Сам отказ от эмоций не связан ли у буддиста с какими-то положительными эмоциями?

Но в ответ услышал:

— Не имею понятия. Не пробовал.

К. Не пробовал... Однако при первом же знакомстве заговорил о буддизме. По твоей инициативе?

М. По своей.

К. Вот видишь... Многие японские интеллигенты убеждали: я неверующий. А дома у них я находила маленький синтоистский алтарь. И удивлялась, когда врач, например, зажег ароматические палочки-свечи, хлопнул в ладоши, склонился на колени перед алтариком и возложил апельсин, символ благоденствия.

Синтоизм, кажется, так же распространен в Японии, как буддизм. Почитают предков — отца, мать, дедушку и всех прабабушек и прадедушек.

Колокольчики золотые,
Пагода в виде дракона.
Тилин, тилин,
Над рисовыми полями
Источник изначальный.
Источник правды.
На горизонте —
Розовые цапли
И вулкан увядший...

Это «Синтоизм» — стихотворение Гарсия Лорки. Красиво. М. Дело обстоит совсем не так романтично и невинно, как ты представила. Синтоизм, как сама знаешь, связан не только с поклонением предкам, но и с культом императора. Сейчас, после военного разгрома, когда глаза народа открылись, культ этот угас. Но еще теплится! А его хотят возродить.

Военщина пронизывала Японию. Был культ солдата,— при встрече на улице перед солдатом кланялись со слова-

ми: «Спасибо за тяжкие труды». Накануне призыва семья получала письмо от военных властей: «Ваш сын и брат скоро получит величайшую радость и удовлетворение, возможные для нашей нации...»

А культ солдатчины строился на культе императора. В знаменитом императорском рескрипте, положенном в основу воспитания воинского духа, говорилось: «Смерть легче пера». Умереть за императора! — в этом видели смысл жизни солдата и его высшее счастье. В казармах пели: «Поплыву ли я, как труп, под водою или упаду в густую траву на склоне горы, я охотно умру за императора».

Культ же императора раздувался религией синто. Император, прямой потомок богини Аматерасу, считался живым богом. Его даже не смели называть по имени — просто «Тэнно» («Сын Неба»).

Синтоизм обожествлял и убитых солдат. Все они записывались на таблицы в синтоистском храме Ясукуни в Токио...

К. Уж больно Лорка хорош. Но, конечно, все, что ты сказал сейчас, — правда. О храме Ясукуни я знаю — и согласна: забывать о нем не следует. Там с синтоистской одержимостью поклонялись воинам, погибшим за великую, непобедимую Японию. Совершались пышные празднества в присутствии императора и при огромном стечении народа. Парады войск чередовались с богослужениями. Все это транслировали по радио. В шовинистическом юродстве мать на всю страну радовалась, что сын ее убит. Невеста убитого должна была улыбаться от счастья...

М. Японский народ стал другим. Но милитаризм в Японии возрождают. Реакция пытается снова объявить синтоизм государственной религией. Это дело серьезное.

А что сказать о буддизме? Самая аскетическая, самая, казалось бы, отвлеченная секта Дзэн со своим стремлением к «божественному Ничто» была секта воинственных и жестоких самураев. Она их тренировала. Сейчас большую роль в политике начинает играть секта Сока гаккай.



К. В противоречивой Японии много сложного. Теза — и тут же антитеза. В то же время буддийскую богиню Каннон почитали в народе за милосердие, за сострадание — и не только к людям на земле, но и к грешникам в аду. Этой доброй богине построили множество храмов. Совсем недавно около Токио, в Камакура, на холме около железной дороги сооружена колоссальная статуя Каннон, по вечерам ее подсвечивают. Фигура видна из вагона, когда едешь со стороны Осака. Воплощение женской красоты и чистоты. М. Я видел. После парка Уэно нас повезли в торговые и увеселительные кварталы Асакуса — и там перед нами предстал храм богини Каннон. В храме, в аромате благовоний, стоял непрерывный тихий звон: толпа бросала монеты на металлическую решетку жертвенника, который, таким образом, был и копилкой, вернее — «кружкой».

А рядом с храмом — стриптиз, у входа соответствующие фотографии.

Поклонение Каннон и поклонение Венере мирно сочетаются.

Между прочим, я заметил: японцы обожают Венеру Милосскую. Во многих местах встречал статуэтки¹.

День уже перешел на вторую половину, и мы отправились обедать. За обедом на меня с новой силой нахлынули противоречия.

Подкатили к зданию в японском стиле с черепичной вогнутой нависшей крышей. Это был ресторан, название которого выражено тремя иероглифами: «Камелия, гора, дача». Дом в самом деле стоит на холме, покрытом камелиями. Сквозь их поэтические листья видны дымящие трубы заводов.

По дорожкам и мостикам прогуливались и снимали друг друга девушки. Я невольно подумал: не затем ли надели они кимоно, чтобы оправдать существование отличных японских фотографических аппаратов?

На нас повязали белые фартуки. Посадили за низкий стол, в середине которого вмонтирована жаровня с углями. На столе я увидел чашечки с невиданными приправами — с соусом и рыбками.

К. С соусом и рыбками — это слишком общо. Не годишься ты описывать кушанья. Приправа — едва ли не главное в японской еде. К небольшому кусочку рыбы или мяса даются: соевый соус, бобовый джем, салат из лепестков хризантемы, бамбук, маринованные кабачки, грибы, огурцы, стручки перца, розовый лук, морская капуста...

М. Посудинок было так много, что я не разобрался.

К. Конечно, не нужно думать, что японцы всегда едят так и в обыденной жизни. Это, так сказать, обед классически японский.

¹ В 1964 году в Японию привозили подлинник из Лувра.

М. На столе лежали опрокинутые тарелки. Мы вытерли руки горячими, выжатыми, туго свернутыми в жгутик салфетками — и тарелки перевернули. На них были положены тут же изжаренные плоские куски мяса — сукияки. Провозгласили дружеские тосты, подняв крохотные рюмочки слегка подогретой японской водки — сакэ.

К. Лучшее сакэ в Японии — из Нада около Кобе.

М. Может быть. Интересно другое. Я узнал, что эту древнейшую рисовую водку, символ японских традиций, сейчас начали подвергать специальному облучению. Гамма-лучи ускоряют брожение и улучшают вкус...

Мы отведали сакэ и под оживленную беседу о судьбах мировой литературы принялись есть — двумя деревянными палочками.

Столовые палочки в Японии, как ты, наверно, заметила, вытачиваются парами, — чтобы начать есть, их нужно друг от друга оторвать, отщепить. Следовательно, ты уверен, что каждый раз ешь свежим прибором.

К. Во времена «Пиковой дамы» играли в карты каждый раз свежей колодой... По правде сказать, я с палочками не справлялась, мне давали вилку.

М. Нет, я держался. Это просто: сначала надо ударить вертикально по столу, чтобы уравнять длину, а потом постучать кончиками. В этом весь фокус. Если научился постукивать кончиками, значит, наверняка подцепишь что захочешь.

К. Вас поили зеленым чаем или чаем из азалии?

М. А разве бывает из азалии чай?

К. Очень вкусный. И еще чай из орхидеи. К чаю — японский кекс. Готовят четыреста видов кекса!

Но едва ли многие японцы попробовали хотя бы часть этого роскошества. Рис, рыба, соевый «творог» с соевым

соусом, и все это в малом количестве, — вот еда у большинства изо дня в день.

М. В соседнем зале был свадебный пир, и меня поразило, что невеста — в европейском белоснежном платье с фатой, а жених — в современном фраке с лотосом в петлице.

К. Я на свадьбе видела невесту в кимоно. Вернее, на ней было несколько разных кимоно — одно поверх другого. И все они были как-то видны — то низ, то рукава. Нарядный убор на голове скрывал воображаемые «рожки ревности». Знак покорности: жена, не ревнуй! Жених и невеста пили сакэ три раза из трех разных чашечек, при этом низко кланялись. Смотрели они, правда, чуть лукаво, снисходительно улыбаясь.

М. Мне было не до улыбки. В первый день моему рассудку было трудно вместить все это, и я страшно устал.

Оказалось, что правильно соотнести в своем восприятии японское старое и японское новое очень трудно.

К. Возникает мучительное чувство — как невроз, вызванный «сшибкой контрастных раздражителей».

М. Не раз жил я в гостиницах не европейского, а японского стиля. На пороге снимал башмаки. Хозяйка кланялась в пол. Доставала одеяла из раздвижной стены и стелила на циновках. Комнаты различались не цифрами, а поэтичными названиями: «снег», «луна» или «лилия». Фарфоровая кошечка, подняв лапу, призывала благословение богов. Не было стульев. Зато были телефон и радиоприемник. Каждое утро — новая зубная щетка. Электрическая печка. Подушка из упругого пенопласта, — ночью она выскальзывала из-под головы, и в темноте я шарил руками, ловил ее.

К. Добавлю. В токийской больнице рядом с архаической глиняной жаровней, на которой разогревался зеленый чай

в чайнике допотопной формы, с прямой ручкой, торчащей сбоку, работал многоканальный универсальный электроэнцефалограф, записывал биотоки мозга...

**Столкнове-
ние контра-
стов**

М. Ехали мы на машине по острову Кюсю и остановились на привал в саду криптомерий и цветущих персиков у стен старинного храма. Выходит служитель и с поклоном спрашивает, не показать ли нам сокровище, которое хранится в этом храме, — древнейшую буддийскую сутру, дар какого-то древнейшего принца. Достал и развернул перед нами полуистлевший черный свиток с зелеными узорами и золотыми иероглифами. Возраст — шесть веков... А откуда достал? Из современного несгораемого шкафа, стоявшего рядом с бронзовой фигурой устрашителя поминальными списками и жаровней, полной пепла. Долго вертел никелированным ключом, отпирал сейф с помощью сложной схемы, напечатанной на фирменной бумажке...

К. На остров Миядзима плыли мы в ладье. По форме это был дракон, но с быстроходным мотором...

М. Мне рассказывали, что президенты монополий, американизированные бизнесмены, получают часть своих барышей в форме традиционных преподношений в день «поминовения умерших»...

К. В Киото меня удивляли такие картины: по тротуару идет гейша, а по дороге мчится на мотоцикле, обнимая сзади юношу в каске, спортивная девушка...

М. В Симоносеки я видел, как интеллигентный человек, деятель общества «Япония — СССР», проходя по улице, низко поклонился святилищу легендарного предка-полубога...



К. Помню, на земле возле могилы тринадцатого века лежали свежие цветы...

М. На перроне в Кокура две сестры-японки, расставаясь, простились за руку, по-европейски. Это я видел сам. Но я знал притом, что одна из них только что послала по почте письмо не в конверте, а в трубочке, выдолбленной из древесного сучка...

К. Биохимик, рассказывая о новейших исследованиях природы белка, обмахивался веером, как на сцене Кабуки.

М. В Ибусуки, на крайнем юге Японии, в темном зале курортного отеля «Канко» в субботний вечер возвращался фонарь с дырочками. Медленно ползла золотисто-красная чешуя зайчиков. Играл граммофон-автомат, на нем была английская надпись: «10 иен, лучшая музыка в мире». Пары были в кимоно. Они босые танцевали рок-н-ролл...

К. О, постой, постой, с рок-н-роллом ты напутал! Я уже давно хотела тебя прервать. Еще когда ты рассказывал о своих переживаниях в токийском отеле «Кокусай Канко». Как ты не понимаешь, одно дело «гуд ивнинг», а другое дело — розетка для электрической бритвы. Если не увидишь в этом различия, не поймешь сегодняшних японцев.

М. Хотелось бы узнать, что же я напутал?



**Современ-
ность и
америка-
низм**

К. В разговоре о старом и новом ты смешал американизм и современность. Большая ошибка! Это разные вещи. Американизм в Японии воспринимаешь как что-то неприятное. Как вредное новообразование. Тебя разве не раздражало

в японской речи обилие английских слов с американской интонацией? И жаргонные словечки вроде «орай», которое получилось из «ол райт»?

Промышленник-миллионер, король автомобильного сервиса Сёдзиро Исибаси, теперь уже не Исибаси, а мистер Бриджстоун. Японское «исибаси» и английское «бриджстоун» одинаково означают «каменный мост».

А как это неприятно: в телевизионной эстраде разговор идет на японском языке, песенки же, которые его сопровождают, часто поются почему-то по-английски.

Японки с крашеными рыжими волосами не вызывали у меня симпатии. А видел ли ты демонстрацию мод? Это ужасно. Милые японские девушки-манекенщицы загримированы под европейек: налеплено вокруг глаз, чтобы убрать присущую им легкую раскосость. А некоторые совсем эту раскосость уничтожили — хирург сделал пластическую операцию.

М. Но ты же не против европейского платья японок?

К. Конечно нет. Обидно смотреть, как девушка из своего неповторимо прекрасного японского лица делает маску Мэрилин Монро или Брижит Бордо.

Вообще, когда японцы из кожи лезут вон, чтобы походить на американцев и европейцев, получается жалкая и смешная пародия.

Совершенно плохо, когда японка снимает свою громоздкую прическу, слишком тяжелую во время жары. Появились короткие стрижки с французскими названиями — «мистраль», «нуссен», «термидор» или «папильон», но женские головки выглядят все равно по-японски, и такое невинное заимствование их не портит.

Другое дело, когда японского не остается, когда его на-

рочно и необоснованно избегают. Строишь шоу с избыточными приемами, фильм с нескончаемой дракой, слушаешь джаз — будто ты и не в Японии.

М. Что же дурного в джазе? В танцевальном подвижном ритме?

К. Танцевальный ритм — не плохо. Но однообразные несмолкаемые удары по слуховым перепонкам — это мне не нравится. Модернистские джазы звучат в Японии повсюду. Народ слушает их по радио волей-неволей. Многих японцев привлекает хорошо разработанная джазовая технология. Они успешно обучаются и даже начинают в технике исполнения превосходить своих учителей.

Когда вернулся Давид Ойстрах из Японии, он писал, что многие японские композиторы некритически усвоили американскую и французскую музыку.

М. Не слишком ли ты строга? Это вопрос меры. Всем известно, что взаимное обогащение культур плодотворно.

Но я согласен: в Японии то и дело переходят грань, за которой начинается механическое подражание. Насколько понимаю, там идет борьба: на одной стороне — развитие национальной музыки, но в более современной форме, а на другой — неорганичные заимствования. Помнится, Ойстрах упоминал ведь и композитора Акутагава, который написал симфонию в современном японском национальном стиле.

К. Формалистические потоки с Запада заполняют Японию. Я читала работу критика Сабуро Сонобэ — он говорит о ярко выраженных сверхмодернистских течениях, вроде додекафонии. Додекафония строится на каких-то выдуманных «системах». Чтобы сыграть эту музыку, надо знать особые правила игры. Они ничего общего не имеют с из-



Своя и чужая музыка

вестными нам нормами музыкального искусства. И тут не отличишь Японию от любой страны Запада.

Японский музыковед считает, что опасность идет из-за границы. Особенно неприятна «электронная музыка». То, что получается от додекафонии, еще приправляется различными микрофонными эффектами — взрывами, хрипением, визгом.

М. Я был в гостях у музыкального критика Гиндзи Ямане. Небольшой домик в Токио, небольшой садик, милые просвещенные люди. На обеде кроме меня присутствовал тот самый музыковед Сабуро Сонобэ, о котором ты говоришь.

Мне рассказали, как прогрессивные музыканты Японии стремятся осовременить традиционную музыку и почему, к сожалению, это сделать не так легко. Ямане в шутку спросил меня:

— А вы не посоветуете, как нам старый трехструнный сямисэн, привыкший к маленькой комнате, ввести в торжественную музыку первомайского праздника?

И еще есть трудность в развитии современного национального искусства — практическая. За музыкой, идущей с Запада, — деньги, за японской — любовь, патриотизм, энтузиазм...

Япония сильно заполняется чужим. Киоски завалены скабрзными комиксами.

Из-под лолы суют открыточки.

К. Все это чужое. «Гуд ивнинг, сэр!» А подлинная современность — дело другое. И именно о современности, а не об американизме начали мы с тобой говорить.

Миниатюрные радиоприемники на полупроводниках — вот это японская современность. Первое место в мире. Каждые полторы секунды выходит в свет такой аппаратик.

Миллионы транзисторов вывозятся из Японии в другие страны, и примерно половина — в Соединенные Штаты.

Современным в Японии я считаю новые газовые и электрические камины, — они заменяют жаровню-хибати, но часто сохраняют ее форму.

М. Не совсем сохраняют. Раньше были низкие хибати, потому что японцы сидели на полу. А теперь много высоких хибати: в Японии появились стулья.

К. Современное кимоно, сшитое из синтетической ткани. В домах — раздвижные стенки из пластмассы. Механизированные японские прачечные. Прекрасные кинокамеры. Тончайшие приборы в медицине. И самые маленькие в мире электрические лампочки — их делают именно в современной Японии.

М. Не увлекайся. У нас в Мордовии — в Саранске — производят такие крошечные лампочки, что они проходят в игольное ушко.

К. Недавно сообщалось: в Японии создано пианино, так оснащенное системой микрофонов и слуховых трубок, что при желании звуки может слышать только сам исполнитель. Какая забота о соседях!

Фармаколог Кондо из Киото подарил мне витаминные пилюли — маленькие красные сладкие шарики. В них умело скомбинировано сразу тринадцать витаминов! А какова упаковка!

И еще ново: на натуральном японском шелке — современный рисунок. У вазы с традиционным изображением цапли — новые, оригинально-смелые линии...

Если не отличать современного от американского, западного, то легко подумать, будто все современное, про-

грессивное идет из Америки. Некоторые японцы так и думают.

М. Сдаюсь. Конечно, современность и американизм не то же самое. Я понимаю, что стальной громоотвод на стариннейшем дворце, где вовсе не было деталей из металла,— это одно, а ковбой в японском фильме — другое. Первое — культура, второе — подражание Америке. Но все же вопрос о современном и американском не так прост, как кажется.

Япония — страна капиталистического мира, а в мире том главенствует, лидирует Америка. Поэтому в Японии современность часто принимает американские формы. И не только в Японии.

Беды в том нет, когда дело касается техники. Например, у кого японцы учились делать автомобили? У американцев. Это естественно. Или такой мелкий пример: иногда на японских тротуарах у дверей парикмахерской вращается вертикальный, издавдалека видный радужный столбик. Это — подражание Америке, но, ей-богу, безвредное.

Несчастье там, где американизм воздействует на социальную область, на отношения между людьми, на образ жизни. Вот тут-то американский капитализм, дальше других ушедший, и испускает яд. Культ силы, пошлость, продажность, беспринципность, космополитизм — все, что вводит в краску самих американцев.

Но не кажется ли тебе, что зачастую в Японии американское влияние падает на подходящую почву и потому легко укореняется? Капитализм — и в Японии капитализм.

Между прочим, в американизме, который пропитывает японское общество и глушит старые традиции, надо видеть не только естественное влияние богатой и сильной страны,

но и ее сознательную коварную политику. На людей, теряющих национальное достоинство, легче влиять.

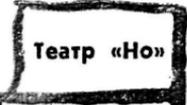
Вопрос о традициях в Японии, на мой взгляд, осложняется вот чем: иногда на феодальных традициях играет реакция в своей борьбе с прогрессом. С другой же стороны, та же реакция, продавшись Америке, выдает национальные традиции на потраву космополитизму... В этом одно из многочисленных противоречий Японии.

К. Традиции традициям рознь. Благородные должны оставаться. И никакой космополитизм не в силах посягнуть на них.

До сих пор танцуют старинные танцы в самобытных костюмах. Любят праздничную пантомиму, как и песни — обрядовые, трудовые. Мне рассказывали о красивом «танце оленя», который исполняют жители города Хананаки: в мягких, плавных движениях стараются быть похожими на этого гибкого, чуткого лесного жителя. Интересны буддийские танцы. Знамениты танцы гейш: условные, изощренные движения с веерами, платочками, ветками.

И древние театры остаются наряду с современными. Пятьсот с лишним лет прошло с тех пор, как родился театр «Но». Однако люди, кажется, не думают о том, что этот театр древний. Забывают. Они даже не помнят о тех легендах, которые объясняют его возникновение. Им совсем не важно — с богиней ли солнца Аматерасу связаны первые японские танцы и песнопения, или по велению Будды пением и танцами отгоняли злых духов, или какой-то древний властелин впервые велел вылепить и раскрасить множество масок и сыграть первые в истории японские пьесы, чтобы утихомирить взбунтовавшийся народ...

Мне хочется о театре «Но» рассказать.



Театр «Но»

На сцене «Но» нет декораций: только на заднем фоне — изображение японской сосны. Зрителей от сцены отделяет небольшой ров, засыпанный песком или засаженный небольшим садиком. Зрители сидят на циновках в квадратах — ложах из дерева.



М. В Токио я видел спектакль «Но» в обычном театральном зале с сидячими местами.

К. А я на острове Миядзима видела сцену театра «Но» в первобытной обстановке. Там играют точно по традиции — среди природы, между деревьев, на берегу моря. Запомнились скромные линии лакированного красного дерева. Пол блестит как зеркало. Актеры в нем отражаются.

В записной книжке у меня помечено: в театре «Но» играют подряд несколько пьес. Главное в пьесе — литературный текст. Стихи очень старинные по языку. Смысл слов понимают немногие и все же слушают ритм языка с удовольствием. Текст сопровождается музыкой. Оркестр — это флейта, ручной маленький барабанчик и еще большой барабан. Поют и говорят голосами то с низкой, то с фальцетной вибрацией, исходящей, кажется, из глубин чрева. Женские роли играют мужчины. Главный герой — в маске.

Маски «Но» очень выразительны. И выражение их меняется от наклона или поворота — будто живая игра лица.

Манера декламации, характер деталей, стиль аккомпанемента зависят от того, какой школы придерживается те-

атр. В Японии пять разных школ театра «Но». Одинаковый текст играют по-разному.

Пьесы в одном и том же представлении идут в такой последовательности. Сначала — танцевальные сцены с религиозно-божественным содержанием, потом бытовые. Далее следуют сцены из деревенской жизни с шутками и подобием клоунады, с танцами, песнями. Все кончается спокойной пьесой, где изображаются «возвышенные, нежные, чистые желания, чувство счастья».

Я узнала, что в театр «Но» многие ходят, чтобы успокоиться, почувствовать умиротворение. Так старое искусство еще продолжает сильно действовать на японскую душу...

Вначале я думала: наверное, японцам надоело ходить в один и тот же театр сотни лет и смотреть одни и те же пьесы. Но знакомый филолог сказал нам: в этот театр японцы ходят потому, что им интересно, и потому, что так заведено исстари.

М. Я тоже пытался выяснить, как относятся к древнему театру современные японцы. Это оказалось делом нелегким.

Особый интерес спектакля, который видел я в Токио, заключался в том, что заглавные роли играли в нем не артисты, а любители старого японского искусства — известные ученые и писатели. Главную роль в пьесе «Хатиноки», например, исполнял знаток русской литературы и известный переводчик профессор Масае Ионекава. Он-то и пригласил нас на спектакль. Подарил приглашенным по коробке японских сладостей.

По правую сторону от меня сидел советский дипломат. По левую — молодой японец, филолог. Оба со мной разговаривали, делились впечатлениями.

Справа я услышал:

— Несомненно, это высокое искусство. Но в зале, пожалуй, еще интереснее и еще загадочнее, чем на сцене. Видите: все места заняты. Кто сюда пришел? Цвет интеллигенции. Древний язык непонятен им, но они не шелохнутся: следят за действием. Значит, театр «Но» находит отзвук в душе современного японца...

А слева:

— Несомненно, это высокое искусство. Но нам, молодым, по правде сказать, скучно. Полный зал? Собрались родственники. Не шелохнутся? Мы, японцы, народ дисциплинированный...

Сидящий справа был прав. Но, кажется, не был неправ и сидящий слева...

К. В театре Кабуки, более позднем, нет непонятной архаики театра «Но». Кабуки мне не кажется застывшим и косным, несмотря на вековую давность. Он вечен, как гравюра или архитектурный стиль Японии.

Театр Кабуки любят все слои народа. Приходят семьями почти на весь день. Отдыхают, завтракают, едят апельсины. Я поражалась, как были внимательны дети.

М. Разве Кабуки не вызвал у тебя чувств сложных? Тебе не было трудно определить отношение к нему?

К. Я говорю искренне. В Кабуки мне нравится все: и красочность сцены, и богатые костюмы, сшитые из дорогих тканей, и «дорога цветов», по которой из глубины зрительного зала приходят актеры, и манерная выразительная условность, и гибкая пластичность движений, и многозначительные психологические паузы, и служители на сцене, которых я не должна замечать, и строгость выученных классических приемов...



Японцы мне рассказывали, что главный вдохновитель современного Кабуки, большой актер Итикава Энноскэ¹, искал новых форм, стремился к новым пьесам, но в то же время хотел сохранить и чистоту старого театра. Николай Иосифович Конрад, первый наш знаток японской культуры, говорит, что Кабуки — это «театр, принадлежащий и прошлому и современности».

Любопытен путь актеров Кабуки. Энноскэ работал в театре с пяти лет. Дед его Итикава Сантаро, отец Итикава Дансиро, сын Итикава Дансиро и внук Итикава Данко — все актеры Кабуки.

М. И тебе ничуть не казалось странным, что женские роли в Кабуки играют мужчины?

К. Нет. Актер Накамура Утаэмон работает в театре тоже с пяти лет. Он поразительно играет женщин. Возникает тонкий японский рисунок: гибкая походка, нежный поворот тела, кокетливо-игривая обольстительная манера в любовных сценах, изящная игра с веером, хрупкая робость японки...

М. Я был в Токио на приеме по случаю отъезда театра Кабуки на гастроли в Москву. Когда речи кончились, а они были очень дружественные, Утаэмон подошел к каждому и каждому медленно, с достоинством поклонился.

Женские роли играет он великолепно. Но не чувствует ли сам театр Кабуки, что пора ввести женщину на его сцену? Сделано же было исключение для известной японской артистки Исидзу Ямада. Ее пригласили в токийский Кабуки, и она там некоторое время играла роль героини.

К. Это другой вопрос — о приниженности японской женщины.

¹ Недавно Итикава Энноскэ скончался.

М. Какая тонкая проблема — обновление старых художественных традиций. Оно неизбежно и необходимо. И не в одной Японии, конечно. Осуществленное руками настоящего художника, оно только радует. Но видел я и нечто, меня не поразившее.

Были мы всей делегацией в токийском Кабуки, смотрели представление, ходили за кулисы. Разговору с нами поделили время и Энноскэ и Утаэмон. При нас Утаэмон готовился к выходу — несколько человек преображали его в куртизанку, облачали в пышный, сложный наряд, ставили на котурны — на высокие нарядные гэта. Зубы у него были начернены. Вернулись мы поздно вечером домой под сильным и очень сложным впечатлением от сценической условности, от стилизованных жестов, от необычного гортанного тембра.

А утром повезли нас в Асакуса на балетное ревю, в котором участвуют триста девушек — без единого мужчины.

И то сложное чувство, которое вызвал у меня старый Кабуки, вдруг рассеялось, многое стало ясным. Мы увидели шоу — номер за номером в ярчайшей расцветке, в каскадах музыки: танцы, пантомиму.

Сцены полностью современные мне нравились. Я их смотрел с интересом. Но при попытках режиссеров слишком легким способом осовременить традиционное японское искусство — страдал. Вчера, в Кабуки, — невиданные процессии, небывалые паузы. И вот та же процессия здесь: вереница герлс в кимоно, но с подрагиванием ног. Вчера, в Кабуки, — странный фальцет, поражающий громкий стук. И вот тот же ударный стучащий ритм — но в форме лихого джаза!

Да, тут сказал я себе, театр Кабуки— великое, благородное искусство.

Люди, естественно, тянутся к новому. Однако новое не создается опошлением старого.



К. А не слишком ли мы с тобой сейчас удалились в древность? Мне кажется, что японцы, при всем уважении к своей старине, бывают недовольны, когда иностранец подмечает в их облике только черты, идущие от старого.

М. Я тоже это чувствовал. В Японии мне попала в газете «Джапэн таймс» статья некоего Курода — однофамильца того Курода, о книге которого ты говорила. Автор статьи возмущается: «Почему иностранцы относятся к Японии только как к стране гейш и пилотов-смертников?»

Думаю, японцев можно понять: я и сам раздражался, иногда слыша такое:

— О, как я люблю вашу литературу! Особенно на меня повлиял Арцыбашев.

— О, я был в Советском Союзе! Ездил в Загорск, смотрел лавру — замечательно!

В Японии мне подарили каталог переведенных советских книг—каталог довольно обширный. Издан он, несомненно, людьми благожелательными. Но на обложке нарисованы церкви с крестами.

Чтобы воспитать в себе более правильный взгляд на со-

временную Японию, я старался представить себе японца, который ходит по Москве и печалится, что не встречается москвичек в кокошниках.

К. В Японии проводили специальное исследование иностранных книг—выясняли, сколько там устаревшего и просто неправильного. Устроили даже выставку ошибок,—кажется, в Осака.

М. Боюсь, что и у нас с тобой найдутся ошибки.

К. Заранее попросим простить нас. Если и будут ошибки, то непредвзятые, без умысла.

М. Иногда недоразумения получаются оттого, что иностранцы по незнанию принимают условность, символ, шифр буквально. Например, к подавальщицам в столовых Ирина Львовна Львова обращалась так: «Почтенная старшая сестра!» И это было правильно, совершенно по-японски. Но буквальный перевод этих слов на другой язык, наверно, удивил бы самих японцев. Переводить надо просто «девушка» или как-нибудь вроде того. Ведь мы же не принимаем во внимание буквальный смысл слов «милостивый государь». Неумелый, буквальный перевод на русский язык условных выражений придает книгам японских авторов вычурность, архаичность, какой-то ложный ориентализм и, я думаю, обижает японцев.

Мы и японцы взаимно попадаем впросак. После возвращения в Москву у меня произошел такой разговор с одним из друзей, человеком очень начитанным:

— Японского императора, поди, не видали?

— Представьте себе, видел. Показывался толпе в день шестидесятилетия.

— Воображаю, в каком экзотическом одеянии!

— А вот и нет. В пиджаке с жилеткой. Перестаньте мыслить о Японии по старинке, по книгам нашей молодости. К. Тут еще сами японцы усложняют. Многих японцев, как и нас, раздражает, когда заезжие иностранцы восхищаются архаикой, а вместе с тем сами же японцы ее выставляют напоказ. Не знаешь, когда это снисхождение, когда — коммерческий расчет. Чаще, наверно, последнее. Буклеты, которые сбили меня с толку в Токио в первый день, построены на приманке экзотикой ради бизнеса. Они рассчитаны прежде всего на американца-туриста: обзревай, удивляйся, плати. «Маска для ослепления Запада» — как говорил Лафкадио Хёрн.

Ты ведь читал «Официальный путеводитель» — «The official guide». Отлично издан на тонкой рисовой бумаге. Легко входит в карман, а страниц — тысяча. Но, к сожалению, основное место там отведено ценам, отелям, описанию бесконечных храмов. Сегодняшнего дня Японии почти не видно. Уступка стандартному туристскому вкусу. М. Сравниваю две гостиницы японского стиля — одна в Омута, другая в Киото. Первая — в далеком городке, где иностранцев не бывает, вторая — в туристском центре, где иностранцев уйма. Гостиница в Омута: маленький домик со скользящими стенками под темной черепицей, среди зелени; в комнате, вместо подпорки, столб из натурального, необработанного древесного ствола — чуть кривого; бассейн для купания на мужское и женское отделения едва-едва, можно сказать — условно, разгорожен; хозяйка, которую жильцы вызывают хлопаньем в ладоши, — простецкая, лукавая, этакая японская Солоха... Отель в Киото: разумеется, циновки, ниша — токонома — со старинной картиной и с букетом, даже в углу мелкие гальки на подносе: символ сада.

Но это для завлечения людей с чемоданами, на которых — ярлыки всех стран. Многоэтажное здание, лифты, бои в форме с ясными пуговицами, в холле киоск с сувенирами. К. К сожалению, в стремлении угодить иностранцу часто переходят грань. Я читала в токийской газете «Асахи» полные подобострастного восторга строки о том, как высоко оценил Ив Монтан Японию и японских женщин. Он снимался в фильме «Моя гейша».



М. Это тоже тонкий вопрос — где грань нарушена, где нет. С Ивом Монтаном нарушена. С гримом манекенщиц нарушена. А вот в таком случае, как ты считаешь, нарушена или нет? У нас на обложках переводных японских книг имя автора ставится впереди фамилии: например, Тацудзо Исикава. Я еще до поездки в Японию знал, что у японцев сначала идет фамилия, а имя — потом, и, считая себя грамотным, негодовал: надо Исикава Тацудзо! Думал, что переводчики и издатели в угоду нашей европейской привычке посягают на извечную традицию Японии. Хорошо, что знающие люди мне вовремя растолковали: японцы сами начали ставить имя на первое место. Ответ: правильно они делают?

К. Где ставят так, а где по-старому. Поэтому ужасно путаешься...

М. Погоди, это другой вопрос.

К. Вот и мы в этой книге у современных японцев имя ста-

вим сначала, а у артистов и писателей прошлого приходится оставлять традиционный порядок — иначе не звучит...

М. Не уводи в сторону, а отвечай прямо: вправе современные японцы вопреки национальным традициям переставлять свою фамилию и имя на европейский образец?

К. Дай подумать... Полагаю, что вправе.

М. Почему? А национальное достоинство?

К. Какой же тут ущерб национальному достоинству?

М. Изменить гримом или даже срезать угол глаз — ущерб. А изменить имя — не ущерб. Нечетко! Давай искать другой критерий.

К. Нечетко? Очень четко. Грим под европейцев не вызван никакими разумными причинами — только лишь жалким подражанием. А перестановка имени и фамилии на более распространенный манер связана с требованиями эпохи, когда быстро растет общение между народами. Так удобнее.

М. А, это дело другое. Требование разума — по-видимому, это и есть критерий. Главное, чтобы людям было лучше, удобнее жить. Пусть старые привычки ломает прогресс, а не ложная мода и дешевое угождение.

Между прочим, европейцев всегда поражал рационализм в подходе японцев к иноземным влияниям. Влияния сменялись: то вначале голландское, то английское — следы его мы видим сейчас хотя бы в левостороннем движении на улицах, — то немецкое...

К. До сих пор японские врачи выписывают рецепты по немецкому образцу...

М. Германия больше всего влияла на армию, отчасти на архитектуру, на государственное право, в какой-то мере на философию. Иноземные влияния в Японии дело не новое.



**Прогресс
или
подражание**

Но, как правило, довоенная Япония брала за границей и чрезвычайно быстро впитывала то, что со своей точки зрения считала полезным. Заимствования были избирательными. Патриархальные национальные формы довольно стойко сохранялись. А после войны они стали стремительно вымываться западными — в одном разумно, в другом нет. Кланяются американцам и от них же, развязных, получают дулю: кличку «джап» и обвинение в «комплексе неполноценности».

К. Такое обвинение — не развязность, а самый гнусный и злобный расизм.

М. Знаю, на себе испытал. Когда в 1945 году, после победы над фашизмом, вышла в Америке моя «Повесть о России», где я пытался как мог и как умел сказать о нашей радости, критик Аспел тут же приписал мне комплекс социальной неполноценности.

Высокомерная игра стеклом. Кто ее выдумал? Фрейд?

К. Венский психиатр Адлер, близкий к Фрейду. А реакционные идеологи обрадовались термину и стали переносить его на целые народы. Корни, конечно, у Ницше.

М. Там, где японцы проявляют излишнее рвение к заимствованию, американцы уличают их в признании собственной отсталости. И этот психиатрический выверт применяется не к отдельным личностям, не к таким людям, как Исибаси-Бриджстоун, а ко всему народу, культура которого на тысячу лет старше американской! Не к торгашам и блюдолизам, а ко всему великому народу, который доказал свою способность к необычайно быстрому развитию! Это низость! Мерзость!

К. Ну успокойся. Не волнуйся так. Я же говорю — у тебя

при знакомстве с японскими сложностями появились признаки экспериментального невроза.

М. Признаюсь, в Японии в первое время сочетание и в то же время несовместимость старого и нового туманили мне голову, мешали жить, отвлекали от чего-то существенного. К. Что же ты сделал, чтобы от этого избавиться?



М. Мне хотелось разрешить свои сомнения с японцем, мыслящим свободно и непредвзято, предпочтительно с таким, который понимает по-русски. И в один из вечеров мы с Ириной Львовной отправились в город Иокогама в гости к Тацуо Курода, который еще при встрече на аэродроме взял слово посетить его. Это тот самый профессор Курода, который прислал нам с тобой свою книгу «365 дней в СССР».

У профессора Курода

Переулок с лавчонками, вывески с иероглифами, железная сквозная калитка, садик с цветущей белой сиренью, небольшой двухэтажный дом... Приветливая жена поит нас чаем.

Доктор филологических наук Тацуо Курода заведует кафедрой русской литературы в университете Васэда—в одном из важнейших частных университетов Токио и всей Японии. Среди многого другого им переведены с русского на японский «Семейная хроника» Аксакова, «Мать» Горького, «Двенадцать» Блока, «Молодая гвардия» Фадеева.

Курода посвятил себя русской литературе. Ирина Львовна Львова посвятила себя японской литературе. Естествен-

но, что между ними сложились отношения взаимного уважения. В эту дружбу был включен и я.

Курода просто обескуражил меня своим вниманием, трогательной заботой. Я провел с ним много часов и очень полюбил его.

Морщин на небольшом его скуластом и добром лице и редющей проседи как будто и нет, потому что главное в нем — жизнелюбие, подвижность и пытливость.

— Крепкий старик! — сказал он о себе.

Профессорство ему, кажется, мешает—заставляет сдерживать порывы. Я подарил его сыну-студенту маленькую игрушку, в которой, если прищуриться, можно разглядеть виды Москвы. Приборчиком этим отец заинтересовался ничуть не меньше сына.

Сам обуреваемый интересом к бытию, Курода легко улавливает интересы других — именно поэтому он многое сделал, чтобы показать мне жизнь Токио. А также вот почему: Курода прожил по приглашению научных кругов целый год в Советском Союзе — и ему хотелось ответить на гостеприимство, которым он был встречен у нас.

Показывал мне гранки своей книги «365 дней в СССР» — она вышла вскоре после моего отъезда из Японии. Я увидел, между прочим, что держать корректуру книги, набранной иероглифами, все равно что вышивать бисером.

По-русски Курода говорит хоть и с акцентом, но хорошо. Пожалуй, слишком хорошо: слишком старательно избегает нерусских выражений, японский парламент в разговоре со мной называл «думой».

Я усмотрел некоторое противоречие между общественными и профессиональными интересами Курода: он считает, что простые люди гораздо интереснее людей известных, и

в его рассказах о встречах в Советском Союзе я слышал только о рабочих, колхозниках да вагонных попутчиках. Гордится полученным письмом, которое начинается простым народным «здравствуйте». А в науке главная его тема — русский символизм, драмы Блока, то есть изощренность.



Думаю все же, что основной его интерес — современная жизнь народа. В символистах он видел современников как раз в те решающие годы молодости, когда формируется весь дальнейший путь ученого.

Занятия литературой намеков оставили свой след: по мнению Курода, книги сегодняшних наших писателей слишком подробны, излишне обстоятельны...

К. Жду рассказа об исходе твоей внутренней борьбы.

М. Вот слушай. В домике у Курода до поздней ночи не умолкал интересный разговор — разговор чужеземцев, понимающих друг друга. Ирина Львовна говорит, что в тот вечер я смотрел на Курода совершенно влюбленными глазами. «Русскими влюбленными глазами», — сказала она.

Но вдруг я заметил, что вопрос, занимавший меня, не находит никакого отклика у японца, который меж тем не прочь пофилософствовать. Все мои попытки заговорить о роли традиций быстро сменялись темой литературной

борьбы, университетского преподавания, взглядов молодежи.

У Курода кроме европейских комнат и кабинета, забитого русскими книгами, есть и японская комната — циновки, которые еле заметно пружинят, низкий столик без стульев, раздвижные стенки с серой полупрозрачной бумагой, ниша с изречением...

В комнате сына-студента играло радио. Томные звуки блюза так и пронизывали стенки японского дома, рассчитанного на вековую тишину. В ответ на мой растерянный взгляд Ирина Львовна только улыбнулась.

И тут, прохаживаясь без ботинок по соломенным циновкам и прислушиваясь к блюзу, я вдруг подумал: «Постой! Ответ открылся!»

К. Ответ тебе открылся? Это интересно. В чем же он?

М. Увы, мне показалось. Это был не ответ, а переход в новую стадию поисков. Мне вдруг показалось, что я где-то в глубине души вовсе освобождаюсь от проблемы, которую преувеличивают глаза иностранца.

К. Ты решил, что вовсе нет проблемы?



М. Да, я подумал так: а почему не воспринимать колорит Японии целостно, в едином образе, без раздвоения, без лишних размышлений? Это современная, высокоразвитая страна—пусть с местными особенностями...

К. Не понимаю.

М. Я думал: ну хорошо — женщина в цветном, пылающем кимоно взмахом рукава останавливает такси, которое мчится в неоновом свете реклам... Старик в деревянных гэта, надетых на босу ногу, вкладывает в ухо провод карманного транзистора, выпускает антенну и слушает новости... А почему дома не смущает нас, скажем, кувшин с дикими ромашками, поставленный на современный телевизор? Или тот миг, когда оперу «Руслан и Людмила» прерывает сообщение ТАСС о покорении космоса? Длиннобородый карла Черномор уживается с невесомостью... Очень люблю и Франка, и Малера, и Прокофьева, а если честно признаться — душу трогает, как милое воспоминание, «Жаворонок» Глинки.

К. Теперь понимаю. Смысл в этом есть. Но все же в применении к Японии так думать неправильно. Догадываешься, как это можно было бы назвать?

М. Еще бы не догадываться: «смазыванием противоречий», вот как. Я скоро это понял. Ведь за старым, за новым в Японии стоят разные социальные силы. Но всегда ли? И какие?

К. В одном ты прав: преувеличивать проблему не нужно. Но и не видеть удивляющей, даже иногда поражающей смеси старого с новым невозможно...

Значит, поговорить обо всем этом с профессором Курода постеснялся?

М. Постеснялся.

К. Судя по интересным письмам, которые он тебе пишет, ты из-за своей нерешительности упустил важный разговор.

М. Не рискнул показаться ему слишком иностранцем.

К. А после ни с кем на эту тему не говорил?

М. Говорил с другим японским профессором. Я спросил:

все-таки что же в японском характере от старого и что от нового? Ответ был следующий:

— Нет постоянного японского характера. Характер всегда движется. Искать характер—это искать направление. Иностранцы, например, говорят: характер японской женщины — единственный в мире. Но тот ее характер, который воспитан феодализмом, быстро разрушается. Рождается новая женщина — и это главное. То же в искусстве. Иностранцы удивляются, что в нашем быстро движущемся обществе остается театр «Но», чайная церемония, старое искусство составления букетов. В быстро движущемся обществе есть люди, которые ищут постоянства,— они его находят в старых формах искусства. Но главное — река, а не водовороты, ею порождаемые. Чем течение быстрее, тем водоворотов больше,— однако дело не в них. Да и само старое изменяется. И чайная церемония не прежняя, и букеты цветов другие, и, наверное, театр «Но» не совсем тот. Чтобы уловить современную Японию, ловите новое. Надо осмыслить течение реки, а уж потом — и с ним в связи — водовороты у берега.



К. Можно спросить: как ты к этому отнесся? Что ответил?
М. Нет сомнений, профессор был прав. Традиционное видеть нужно, но преувеличивать его роль, фиксировать на

нем взгляд не следует. Это значило бы самому мыслить по традиции. Разговор помог мне сформулировать для себя хотя бы предварительный вывод, рабочую гипотезу после блужданий в сложном мире старого и нового. На философском языке это выглядело бы так: Япония — единство противоположностей, и теперь мне ясно, какая из противоположностей является ведущей.

К. Без формулы ты, конечно, не можешь. Наверно, она правильна. В борьбе нового со старым побеждает новое...

Но в этой формуле нет ответа — почему же все-таки в Японии старое держится так цепко?



Японцы
и мы



З. Н. Михайлов, З. Носенко



.... ОСАКА — КОБЕ

К. Из Токио мы поехали в Осака, второй по величине город Японии.

Путь шел на запад, чуть отклоняясь к югу. Поезд то выбегал к морю, которое открылось слева, то нырял в горы. Мелькали мостики, отели, автомобили, цветы... Там курортные места. Временами склоны гор над морем были так нарядны, так обжиты, так тщательно возделаны, что напоминали нашу Абхазию или, пожалуй, берега Италии где-нибудь около Амальфи.

День стоял ясный — и вдали, за тонкими высокими трубами бумажной фабрики, я впервые увидела Фудзи — символ Японии. На голубом зимнем небе — строгий снежный конус с розовым облаком в ложбинке на вершине.

Путь изгибался, великая гора с правой стороны иногда переходила на левую. Мы метались по вагону. Японцы понимали, улыбались с гордостью и благодарностью.

Щиты с огромными белыми, желтыми, красными иероглифами стояли низко вдоль дороги — восхваление всяких товаров...

М. И единственное, что ты была в состоянии прочесть, — восклицательный знак в конце фразы.

К. Там было одно сплошное восклицание. Возвышались рекламные башенки, призывали покупать телевизоры. Среди полей торчали гигантские, с дерево величиной, разноцветные бутылки виски и ликеров.

На холмах и в рощицах, в слиянии с природой, стояли синтоистские храмики. Перед ними — тории, ворота красного или серого цвета. Чуть изогнутая перекладина делает их похожими на иероглиф.

Японцы, кажется, считают эти ворота воплощением своей страны, потому что тории совмещают простоту и утонченность.

Сочетание простоты и утонченности выражается особым словом «сибуй». В Японии, если говорить о настоящей Японии, это высший художественный принцип.

Когда у нас в Москве была в гостях Тикако, сестра твоего токийского переводчика, студентка университета имени Лумумбы, она, помнишь, объяснила это понятие так:

— Чай не слишком сладкий и не слишком горький. Очень вкусный. Ничего лишнего. Сибуй.

В воротах вверху от столба к столбу протянута толстая веревка, «оберегающая от всего злого». У храмиков я могла разглядеть пучки цветов, мандариновые ветки — приношения.

За курортом Атами с грохотом пронеслись сквозь длиннейший тоннель. Экспресс мчался со скоростью более ста километров в час¹. Японская колея сравнительно узкая, вагон сильно раскачивался, и мы боялись, что торт слетит с полки...

М. Какой торт?

К. Ореховый, который мы везли из Москвы... Погоди, покончу с дорогой.

Была теплая японская зима, похожая на осень. Японцы завершали летние работы на полях. Собирали урожай, на велосипедах в прицепных тележках везли сено. Катили двуколки с дровами. Крестьянки в белых платках с уголками, свисающими по бокам, в коротких кимоно и штанах развешивали на бамбуковых палках какие-то плоды, чтобы их сушить. Снимали мандарины.

Проехали Сидзуока, главное в Японии место мандариновых рощ. Ровные ряды деревьев. Краски — зеленая, оранжевая. Плантации круглых как шары чайных кустов...

По рекам, сбегавшим с гор в ровные долины, шли плоты из бревен. В маленькой теплой заводи дети связывали плотик, плыли на лодочке.

Водная блестящая гладь. Яркое солнце. Прозрачный воздух, как у нас в сентябре, когда летают паутинки. Говорят, в Японии паутинки летают не осенью, а весной.

Так я видела японское «бабье лето»; здесь его называют «малой весной»...

¹ Недавно между Токио и Осака пошли суперэкспрессы, развивающие до двухсот километров в час.



М. А я ехал по той же дороге— и пейзаж был совсем другой. Из Токио Наири Зарьян и Всеволод Иванов отправились на север, на остров Хоккайдо, вплоть до селений айнов, а Олесь Гончар, Ирина Львова и я полетели в самолете на юг, на остров Кюсю.

Во второй половине апреля мы возвращались поездом как раз по тем местам, о которых ты рассказываешь, но при тебе лето угасало, при нас разгоралось.

В разогретом воздухе висела влага, бледно-голубое небо часто затягивалось дымкой из водяных паров—и Фудзи я не видел. Вернее, через силу напрягая зрение, нашел в разрыве туманной пелены кусочек ее крутого склона, высоко висящий. А может быть, это был край более темного облака...

На земле еще не было ни урожая, ни плодов. Кое-где крестьянин шел за быком с тяжелым плугом по сырому полю, по воде... Зато как празднично было на диких горных склонах! Среди коричневых камней и зеленой хвои ярко цвели лиловая глициния и красная азалия. Деревья персика походили на розовую пену. Но вишня отцветала.

На юге Японии, на Кюсю, уже пламенело лето. Термосы в гостиницах были налиты не горячей, а ледяной водой. Пальмы и бамбук шелестели в лучах жаркого субтропического солнца. В Кумамото листва какого-то необыкновенного дерева осыпалась под ветром. Поля сурепки, которые около Токио мы видели еще ярко-желтыми, там были бледно-зелеными— желтые цветы успели смениться стручками. На вишне вовсе не было цветов — лишь в горах, на склонах вулкана Асо, куда мы поднялись, снова встретили нас цветущие деревья. А в те же дни на севере Иванов и Зарьян

не только видели цветущую вишню на равнинах, но и застали нерастаявший снег... Все-таки зачем везли вы торт в Японию?

К. Мы очень беспокоились за него в жаркой Индии. Боялись повредить при пересадках. Он оказался цел и свеж. Но поезд пришел в Осака — сначала я расскажу об этом городе. Ведь ты в нем не был.

М. Проехали ночью. В центре — неон, как в столице; на окраинах — мрак, как в деревне.

К. В центре Осака очень хорош. Тут не понимаешь, почему он назван «дымной столицей». В ясные зимние дни воздух чистый. Но в заводских тесных пригородах — смрад

Говорят, Осака похож на наш Ленинград и Венецию. Мне показалось, что он больше напоминает Амстердам. Каналы, утонувшие основания зданий, мосты. Почти полторы тысячи мостов. Дома притерлись друг к другу. Под мостами проплывают баржи и лодки.

Известно, что Осака постепенно погружается в воду, как Венеция.

Во время войны город был сильно разрушен. Сейчас следов разрушения нет.

Мы вышли рано, чтобы увидеть Осака в его утренние часы. Японцы открывали двери, раздвигали ставни, у порога чистили обувь. Через широкие, как витрина, окна видны были зажженные хибати — угольные, газовые или электрические. Люди прочитывали газеты, грея руки над фарфоровыми жаровнями. Быстро пили из маленьких чашек кофе или чай, ели палочками рис. В начищенных ботинках и туфлях спешили в конторы, на фабрики и склады.

В домиках видна чистая бедность. Все выстирано, заштопано, выглажено.



На улицах
Осака

Открываются магазины, и владельцы их вместе с приказчиками, низко кланяясь, пропускают первых покупателей.

На площади стоит знаменитый Осацкий замок. Бьют часы где-то рядом на башне. Удары — и звенящий восточный аккомпанемент...

Из окна «Международного отеля», где мы жили, видны канал, набережная, красивый садик, фонарь с набалдашником, похожим на головной убор самурая. Напротив, по другую сторону канала, стоит дом на сваях. Подход к нему только с воды в лодке.

По тротуару гуляет крупный американец с белой собакой. Подкатывают дорогие автомобили. Несется на велосипеде японец. Он держит доску чуть не во всю ширину улицы и лавирует с нею среди машин и пешеходов.

В японских городах я замечала: в обеденное время на улицах появляются на велосипедах мальчики в белых кителях из ресторанов — одна рука на руле, другая держит над головой широкий поднос с целой горой дымящихся кастрюль и тарелок. Петляют в толпе — и никого не заденут.

В первый день приезда в Осака мы до позднего часа ходили по городу. Видели, как рабочие выгружали из складов громадные тюки. Шли потоком гиганты грузовики. По каналам плыли суда с товарами.

Долго не затихала торговля на ярмарках, в лавках, в больших универмагах — Даймару, Хансин... Открыты были бары, ночные клубы. Сияли вывески банков Японии, Америки, Индии, Гонконга...

Торговый город. Шумный даже ночью. Роскошный, богатый. И безобразно убогий, грязный на окраине. Там та-

пая нищета, что ее уже не выстираешь и не заштопаешь. Пахнет сыростью. Японские трущобы.

В этих осакских трущобах недавно был бунт, драка с полицией. Десять тысяч японцев вышли на улицы — требовали жилья и работы. Полиция бросала слезоточивые бомбы, давила людей бронемашинами. В Осака мы нашли господина Мацуо Кокадо и передали ему ореховый торт, подарок московских кондитеров.

**Ореховый
торт из
Москвы**

Мацуо Кокадо — президент акционерного кондитерского общества «Парнас». Недавно он был у нас в Москве. На фабрике «Большевик» учил кондитерскому искусству и учился сам. Москвичи его не забыли.-

Сейчас Мацуо Кокадо печет в Осака русские пирожки и пончики. Кондитерская называется «Моску но адзи» — «Московский вкус».

Нас угостили русской коврижкой. Она чем-то походила на японские сладости.

Кондитер помнит своих товарищей. Собирается съездить второй раз. Низкий его поклон на прощанье означал большую благодарность Москве.



М. /Ль\ тоже везли подарки — в Японию и из Японии. Среди других подарков, посланных с нами в Москву, была кукла для Гагарина от японских детей из Хиросимы.

Первый полет человека в космос произошел, когда мы

были в городе Фукуока. К нам, еще ничего не знавшим, подошел человек и поклонился:

— От души поздравляю вас — сейчас только что получено известие, что советский человек поднялся в космос.

Так космическая эра, о которой каждый из нас мечтал с детства, началась для меня на японском острове Кюсю. Я записал имя человека, который первый возвестил мне о ней: японец Иосинобу Ириэ.

Нас и до этого дня отлично встречали, но после мы все время скромно делили славу с Гагариным.

С необычайной быстротой весть о подвиге Гагарина прошла в самую глубину японского народа. Один шахтер из Омута рассказывал нам:

— Как только услышали по радио, сложили свои гроши и выпили пива.

В далеком городе Кагосима, в «Неполе Востока», мы переплыли на парходике-пароме морской залив, чтобы подняться на склоны вулкана Сакурадзима, из жерла которого исторгаются громадные черные клубы дыма, но не все время, а с промежутками, толчками. Среди сизо-серых нагромождений лавы и пепла, под пахучими камфарными деревьями бегал и играл пятилетний мальчик, мать его сидела на скамейке. Ирина Львовна вынула из сумочки и подарила мальчику матрешку. Мать поднялась и поклонилась:

— Примите наше восхищение Гагариным.

К. Прекрасно встречали и нас. А первая встреча в Токио на аэродроме меня просто ошеломила. Флаги, плакаты, аплодисменты. Звучало «Итальянское каприччио» Чайковского. Нам дарили хризантемы и гвоздику.

Но главное—улыбки, улыбки, поклоны...

М. И я первую встречу в Токио не забуду. Конечно, не о

слепащих «юпитерах» речь, а о человеческом радушии. Писатели нас ждали у трапа.

Удивительное у японцев сочетание приветливости со сдержанностью. Высшая, самая благородная форма вежливости. Неторопливый поклон, молчаливая улыбка, внимательный взгляд, рукопожатие. Рукопожатие — это даже лишнее. Уступка европейцам.

А позже, при расставании, писатель Хироси Нома обнял и поцеловал меня: преступил вековой японский обычай, чтобы выразить чувства на языке, который считал наиболее понятным для русского.

С летного поля вошли в зал — я думал, встреча уже закончилась, а она только там и развернулась. Множество народа. Шумные рукоплескания. Полотнища не только красные, но и красно-синие: флаг нашей страны и флаг общества «Япония — СССР».

Перед нами были представители этого японо-советского общества дружбы — мужчины и женщины, молодые и старые...

К. Я больше всего встречалась именно с этими людьми. Узнала их близко. Настоящие друзья.

М. На службе их не похвалят, а осудят, — но вот пришли по своей воле, смотрят радостно и с любопытством.

Нарядная девушка протянула, букет с лентами, Олесь Гончар его принял и ответил на речи.

К. Надеюсь, вы там не много произносили речей? У нас чаще была беседа, задушевный разговор.

М. И мы к этому стремились, но не всякий раз сразу получалось. На встречах и приемах сначала каждый с обеих сторон, сколько бы ни было народу, вставал и с поклоном

представлялся. Затем японец-председатель, закончив приветствие, обычно говорил:

— А теперь нас будут приветствовать гости.

Оборот этот отношу за счет простосердечия японских переводчиков. И мы, естественно, произносили речь. Она начиналась так же, как первая в токийском аэропорту:

— Мы\ приехали по приглашению Ассоциации японских писателей для укрепления дружеских связей.

Старались сказать покороче и, не считая этой первой фразы, каждый раз по-разному. И официальная часть сменялась непринужденным разговором. Шел он всегда с подъемом. И кончался только за отсутствием времени. За поездку на каждого из нас пришлось около ста выступлений.

К. Разговор лучше всего выходил при таком начале:

— Я врач. Лечу нервных больных. У меня двое детей...

М. Однажды я избрал этот путь в очень важную и трудную минуту. В Токио меня позвали на Русское отделение вечернего Института Трудящихся. Там учатся после работы, но за плату, конечно. В перерыве между лекциями ввели в зал, где собралось человек триста студентов. Сидят и жадно ждут, что скажет им человек, родному языку которого посвятили себя. Для многих, наверно, первый советский человек, который им встретился. Взошел я на кафедру и под лучами их глаз понял всю глубину своей ответственности.

— Расскажите о Советском Союзе!

Как отобрать и выразить главное, какими словами за десять минут передать этим молодым японцам новый взгляд на мир, суть всех перемен, смысл новой эпохи? Подумав, я стал рассказывать самое простое о своей семье.



Как живем ты, я, дети, как поступила в вуз дочь, что нам дала страна, что мы в жизни делаем и чего хотим...

Отклик, который пронесся по залу, показал мне, что я не ошибся.

Но однажды... Это было мое первое выступление в Японии. В Токио нас, советских литераторов, пригласили на вечер молодежного журнала. В большом зале—очевидно, нанятом для этого торжества — звучала музыка и парами танцевали юноши и девушки. Нас встретил редактор в красной клетчатой рубашке — он мне тоже показался молодым, несмотря на то что тринадцать лет просидел в императорской тюрьме.

Танцы сменились веселыми играми, затем песнями. Потом нас повели на сцену, и мы там, как говорится, заняли стол президиума. Но стола, как обычно на японских собраниях, никакого не было,— получив по букету цветов, сели полукругом на невысокие стулья с далеко откинутыми спинками. Люди в зале уселись прямо на пол — и замерли.

Слово к читателям журнала от лица писателей, только вчера прилетевших из Москвы, пришлось произносить мне. Я не без трепета встал, попросил Ирину Львовну помочь мне переводом, и мы подошли к микрофону. Трибуна, которая всегда усиливает торжественность и натянутость, слава богу, отсутствовала.

Сначала мне надо было кратко представить своих товарищей. А так как на меня смотрели сотни глаз, живых, веселых, ждущих, то я взялся представлять каждого по возможности шуточно — понял, что сухие слова могли разочаровать и обидеть. А это нелегкая задача для экспромта.

И тем более нелегкая, что шутка всякий раз отзывалась долгой, убийственной для оратора тишиной: вспышка смеха возникала только после перевода.

Я так старался, что обо всем забыл. И когда, покончив с представлениями, добрался до сути,— заметил, что друзья делают мне знаки. Оказывается, я уже истратил не только свое время, но и время всех других ораторов.

К. Отчетливо вижу всю картину...

М. Кажется, мне простили. Японцы и виду не показали, что я сломал им график.

На прощанье мы расписались тушью на куске розовой ткани. Когда уходили, люди выстроились узким коридором. Каждый жал руки.

К. Я чувствую, тебе все-таки приятно вспомнить эту встречу.

М. Еще бы! Как и все другие.

Однажды в Токио за мной заехал аспирант Сотокити Кусака, специалист по Пушкину. Тот самый Кусака, в очках, черные волосы бобриком, который после был у нас в Москве и прислал письмо: «Теперь я работаю над диссертацией и часто вспоминаю свою поездку по Вашей стране. Самое глубокое впечатление на меня произвели здоровые, трудолюбивые, симпатичные советские люди, особенно женщины, везде работающие весело, активно, самостоятельно...» Сотокити Кусака заехал за мной и повез в университет Васэда.

К. В университете Васэда народ, должно быть, боевой, резкий. Там студенты устроили обструкцию американскому гостю — министру юстиции.

М. Резкий? Я думаю, когда как, в зависимости от обстоятельств. Был светлый весенний вечер, я сидел рядом с профессором Курода перед студентами Русского отделения в



саду на траве и отвечал на вопросы, в которых ни протеста не было, ни обиды.

— Скажите: мы, японские студенты, наверно, кажемся вам отставшими на полвека? Чем-то вроде Пети Трофимова из «Вишневого сада»?

— Нет,— сказал я,— по-моему, в своей стране, вы на линии огня.



К. Я тоже встречала студентов, изучающих русский язык. Английский в Японии распространен гораздо шире, но мне кажется, что в Японии русский язык знает больше людей, чем в любой другой капиталистической стране.

М. Его учат на курсах при отделениях общества «Япония — СССР» и, кроме того, на курсах—если не ошибаюсь, при сорока университетах. И в университете Васэда и в вечернем Институте Трудящихся я спрашивал студентов, почему они избрали Русское отделение. Ответы были разные, но смысл их можно свести к следующему.

Одни хотят читать советскую техническую литературу. «Сейчас без этого нельзя». Других привлекла классическая русская литература. Таких много. Но большинство отвечало:

— Хочу понять нового советского человека.



Это не фраза, не любезность. Зачем им выдумывать? Они говорили правду.

Все эти люди, конечно, ходили на Советскую выставку, которая была открыта в Токио в 1961 году.

К. Мы не раз встречали японцев, которые бывали в нашей стране. Продавец газет в порту Кобе — видно, из старых солдат — радостно сообщил нам по-русски:

— Я ел кашу в Комсомольске.

М. Из бывших пленных. Я встречал таких часто. И не было случая, чтобы не услышал:

— Советские люди — новые люди.

Недаром при чистке «красных» в Японии увольняют и тех, кто был в СССР в плену.

К. Нас не удивило, что магазин русской книги в Токио в районе Канда торгует бойко — книги быстро раскупают, заботливо заказывают, терпеливо ждут. Поразила такая встреча. Однажды мы были на рыбном рынке на берегу Внутреннего моря. Оно как бы возделано: в воде у берега сети, вдоль и поперек — жерди для морской капусты. Собирают ракушки. Рыбачки — женщины с грубыми простуженными голосами, в высоких резиновых сапогах — продают трепангов, каких-то головастиков, рыбу-змею, рыбу-иглу... Рыбаки таскают корзины, возят тачки с еще живой рыбой. И вот там пожилой японец, пахнущий водорослями, — Такидзи Коянаги — приветливо потряс рыбиной, раскрыл ракушку, высыпал из корзины трепангов, а затем достал из кармана тетрадку и нетвердо прочитал, как ученик:

Благодарю — аригато.

Море — уми.

Здравствуйте — коннитива...

Вспоминаю еще один случай.

На Гиндзе в Токио я услышала, как девочку окликнули:

— Таня!

Как у Исикава Такубоку:

Русское имя
Соня
Я дал дочурке своей.
И радостно мне бывает
Порой окликнуть ее.

М. Ну, у этого великого японца были и более значительные, прямо-таки геройские проявления симпатии к русским. Когда во время русско-японской войны в Порт-Артуре погиб адмирал Макаров, Исикава Такубоку не побоялся написать:

И я, поэт, в Японии рожденный,
В стране твоих врагов, на дальнем берегу,
Я, горестною вестью потрясенный,
Сдержать порывы скорби не могу.
Вы, духи распри, до земли склонитесь!
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи!..

И вообще я бы сказал: чем значительнее по дарованию, по уму, по кругозору был японец, тем он больше ценил Россию и дружбу с ней. Писатель Хасэгава Фтабатэй, который положил начало реализму в Японии, был знатоком и переводчиком русской литературы. В предисловии к русскому изданию своего знаменитого романа «Нарушенный завет» японский классик Симадзаки Тосон называет японо-русскую войну 1904—1905 годов «печальной». Известно, какую роль в жизни Токутоми Рока, автора переведенного у нас романа «Куросиво», сыграло паломничество в Ясную

Поляну. И я всегда поражаюсь, с какой любовью, с каким проникновением в русскую жизнь написал Акутагава Рюноскэ свой рассказ о том, как Лев Толстой и Тургенев охотились на вальдшнепов...

Профессор Хара, в сущности, всю свою жизнь посвятил переводу на японский язык Льва Толстого.

К. Очень нравится мне очерк «Равнина Мусаси» писателя Куникида Доппо, написанный еще в конце прошлого века. По духу это японские «Записки охотника». Как и у Тургенева, человек у Доппо неотделим от природы. Там есть фраза о Тургеневе. Вот: «Именно благодаря удивительной силе художественного таланта русского писателя я впервые ощутил прелесть осеннего пейзажа. Пусть это русская природа с березкой, а у нас на равнине дуб, пусть у нас разные климаты и разная растительность, но листопад на наших равнинах одинаков».

М. Русская классика и современным японским писателям известна отлично. Впереди всех переведенных мировых авторов стоит Чехов.

При нашей первой встрече с писателями в Токио упало блюдечко и разбилось. Японцы в один голос воскликнули:

— Как у Дуняши в «Вишневом саде»: «К добру!» Любостью к русской культуре встретил нас и город Кумamoto на Кюсю — город с замком на холме, со стеклянными крышами, которые защищают от дождей торговые улицы и превращают их в пассаж, с парком, где среди прудов, мостиков, полянок, деревьев и искусственных горok есть своя миниатюрная Фудзи.

В обществе «Япония — СССР», в большом зале, куда мы, сняв обувь, вошли, прием начался так: старый профес-



Из страны
Григория
и Катюши

сор-лингвист Окамото на русском языке с цитатами из Конфуция («Как же не радоваться приезду друга издалека») обратился с задушевной речью к гостям — откуда бы ты думала? — «из страны Григория и Катюши!» Он имел в виду Григория Мелехова и Катюшу Маслову. Катюша Маслова — один из самых любимых образов в Японии.

После речей и беседы все мы получили подарки. Преподаватель Коммерческого колледжа Сабуро Ого дал мне написанную им брошюру «Русская литература во времена народников», университетский работник—журнал со своей статьей, писательница, автор исторического романа о Тайване,— куколку, профессор Окамото—стопку последних номеров «Правды» и «Известий». Учитель английского языка ка попросил написать фразу и расписаться:

— Покажу ученикам.

Потом вышел человек с камертоном, и зал спел «Катюшу». Я думаю, многие японцы и песню эту относят к Катюше Масловой.

Кончилось же тем, что все встали, повернулись к висящему на боковой стене плакату «От сердца приветствуем советских писателей!» и, вздымая сжатые в кулак руки, прокричали:

— Банзай! Банзай! Банзай!

На вокзале утром нас тоже встречали речами. Шестилетняя крошка Кухико в пурпурнозолотом кимоно подошла к Олеся Гончару с букетом, увитым лентами. В гостиницу мы ехали очень торжественно: кортеж машин, развевающийся красный флаг Советского Союза, впереди радиоавтобус, изливающий на весь город громкие звуки «Тройки».

К. Музыку они нашу любят. Чайковского боготворят.

В Токио Ассоциация искусств Японии и любитель русской хореографии господин Хаяси открыли балетную школу имени Чайковского. Для работы пригласили наших советских балетмейстеров Суламифь Мессерер и Алексея Варламова.

Наплыв в школу был громадный, приходилось отказывать, отбирали самых талантливых.

Когда я была там, школа уже работала восемь месяцев, и дело было поставлено замечательно. Советские педагоги учили японцев классическому танцу в новом, специально построенном помещении. Работа шла в просторных залах в тишине токийского предместья, среди деревьев.

Педагоги поражались серьезности учеников, их пытливости, врожденной грациозности, остроте чувства красивого.

Я видела, как занимаются самые маленькие — семилетние балерины. Уморительно сосредоточенные, перед зеркалом всю стену, японочки старательно, удивительно точно повторяют движения и слушают объяснения русской балерины.

В других классах видела более трудную работу — там переучивали взрослых профессиональных танцоров. Меня познакомили с двумя известными танцовщицами — Микико Мацуяма и Мамото Тани. Тоже педагоги, они влились в эту школу вместе со своими учениками. Техника их

танца еще требует перестройки и совершенствования.

Как они старались! В зале было холодно, горел электрический камин. Балерины зябли, но терпеливо повторяли и

«Щелкунчик» в Токио



повторяли трудные движения, постигали сложный рисунок классического танца. Они мужественно ломали какую-то свою привычную систему, пот стекал с измученных лиц. Шла репетиция «Щелкунчика», звучал «Вальс цветов», и японские балерины напомнили мне с детства знакомый русский балет.

М. Классику нашу японцы знают хорошо. Но вот советскую литературу, к сожалению, плохо. И если знают, то русскую. Национальная им почти вовсе неизвестна. Не раз спрашивали:

— На каком языке пишут украинцы и армяне?

В Токио мы были в одном из крупнейших издательств — Иванами. Директор начал с тоста:

— За мир и дружбу!

Из разговора нам стало ясно, что в Японии издают довольно много советских книг, но малыми тиражами и с весьма случайным отбором.

Кто знает английский, те читают наш журнал «Советская литература на иностранных языках»¹.

Было создано «Общество поддержки «Броненосца «Потемкин». После долгой борьбы оно добилось победы: отменили запрет на этот фильм Эйзенштейна.

Есть в Японии «Общество мичуринцев». Оно издает газету «Мичуринское сельское хозяйство».

При мне директор нашего Детгиза Константин Федотович Пискунов привез в Японию выставку советской детской книги. Ее встретили очень хорошо.

К. А я в это время была на выставке японской детской

¹ С 1964 года в Токио по инициативе и под руководством профессора Тацуо Курода издается журнал «Советская литература» на японском языке.



Обмен
книгами

книги и игрушки в Москве. Книги красочны. Игрушки с выдумкой: обезьяна жарила яичницу, медведь-шофер сердито сигналил, как живой...

М. В. Кумамото, о котором я только что говорил, мы зашли в книжный магазин. Там нашлись книги Ленина и «История СССР» в переводе на японский язык. Ленин в Японии издан в сорока томах.

Воспоминания о Кумамото меня не оставляют. Там бастовали автобусники — требовали возвратить на работу уволенных товарищей. Но, несмотря на забастовку, профсоюз пожелал выделить для нас автобус, чтобы мы могли поездить по острову Кюсю.

На шоссе встретились забастовщики. Они, естественно, посчитали наших двух водителей и девушку-гида за штрейкбрехеров. Когда дело разъяснилось, старший из группы, юноша с повязкой на руке, просунул к нам в окошко свою веселую голову и воскликнул:

— Будем держаться до конца!

По дороге в одном из городков мы узнали, что начальник железнодорожной станции обращается к нам с просьбой зайти к нему: сам он не имел права покинуть свой пост. Посмотрел на нас и сказал:

— Благодарю от души. Мне очень хотелось первый раз увидеть русских. Я знаю американцев, французов, немцев, шведов — и рад сообщить, что вы ближе всех к нам, жителям Восточной Азии.

Члены профсоюза в Кумамото издают литературный журнал «Рассвет». Когда один профсоюзный работник совершил поездку в СССР, этому событию был посвящен целиком отдельный номер.

У дверей профсоюза мы нашли маленький — можно пе-

репрыгнуть — водоемчик. На доске иероглифами написано: «Мир — назвали мы наш пруд. Так будем же все заботиться о нем!»

Из Кумамото поехали в город Кагосима, в южную часть Кюсю. Те места в Японии считаются консервативными, даже реакционными. *Мы* думали: как-то нас встретит самурайский юг? А встретил он вот как.

Время на японских железных дорогах измеряется долями минуты, стоянки на мелких станциях длятся мгновение. И вот в Минамата, около Кагосима, к нам в вагон влетает человек: узнал из газет, спешит пожать руки.

В Оита, тоже на Кюсю, случай на железной дороге повторился: на перроне нас ждали. Спросили в окно:

— Вы советские?

Горячо жали руки. Завидовали другим городам, где у нас были обстоятельные встречи с людьми.

— Понимаем, что у вас нет времени, но мы звонили в Токио, просили, чтобы город Оита включили в ваш план...



К. А мне приятно вспомнить многих медиков, которые были очень внимательны.

Прогрессивная деятельница и врач профессор Микаэ Тома болела, но и больная все время заботилась о советском враче—всюду звонила. Меня приглашали, возили, с необычайной охотой показывали клиники, лаборатории и новые аппараты. Рассказывали о японских способах лечения.



**В доме
доктора
Кувахара**

Маленький, худенький, похожий на бойкого студента психиатр Рьюро Такаги из Киото постоянно пишет мне письма — по-русски, присылает научные журналы. А симпатичный доктор Кувахара! Мы были у него в гостях в пригороде Осака вместе с профессором Лурья. Ехали электричкой. Довольно тесно, но чисто. Минут двадцать пять. Шли по дачному поселку мимо особняков за высокой живой изгородью.

В доме — январские хризантемы и январский холод. Мы согревались газовым камином, зеленым чаем и веселым смехом.

В доме — современный комфорт, но сохранены и национальные черты: циновки, круглая ванна. Нас угощали сурумэ — сушеной каракатицей, похожей на вермишель, морской капустой в виде черно-синей слюды и шоколадом в форме иероглифов.

Дети наших хозяев в тот вечер играли московскими игрушками.

Поздно вечером всей семьей нас провожали к поезду. Госпожа Кувахара завязала нам, как близким родственникам, в фуросики апельсины. Хозяин вынул из рамки на стене небольшую картину, изображение розы, и подарил мне.

Много говорили об эпидемии полиомиелита — о бедствии, постигшем Японию. Радовались тому, что создана теперь «живая вакцина», предупреждающая развитие болезни, и что из клубней подснежника стали приготавливать галантамин, излечивающий параличи.

Тогда, к сожалению, Япония еще не покупала в СССР ни «живой вакцины», ни галантамина. Эти лекарства попадали японцам только в виде подарков.

М. С галантамином у нас с тобой связано одно из самых сильных воспоминаний...

К. Я бы хотела узнать подробности о тех двух девочках из Симоносеки. Твое письмо из Японии меня в Москве всполошило: «Матери умоляют спасти их детей. Болезнь запущена, осталось мало времени...»

М. Город Симоносеки находится на южном краю острова Хонсю, главного острова Японии. Мы прибыли туда с острова Кюсю через морской пролив посуху: на автомобиле по тоннелю. Тоннель этот, длиною в три с половиной километра, проходит на двадцать метров ниже морского дна. Он имеет две нити — для машин и для пешеходов, частью выложен блестящими плитками, освещен лампами дневного света. Такой же тоннель, длиною более тридцати километров, скоро будет проложен между островами Хонсю и Хоккайдо.



Нас встретил Ютака Мива — врач-микробиолог, глава отделения общества «Япония — СССР». Маленький, морщинистый, полный радушия и вдохновения. Он долго возил нас по городу, по его окрестностям. Мы поднялись в красном вагончике канатной дороги на вершину горы, откуда увидели картину необычайной красоты: большой город внизу, горы и деревни внутри острова, морской пролив, обилие су-



**Просьба
матерей**

дов, промышленные города Северного Кюсю по другую сторону пролива, одетые дымом, и сразу два моря: налево Внутреннее море с лесистыми островами, а направо — Японское море, синяя гладь которого уходит к нашему Владивостоку...

Провели в Симоносеки несколько часов. День закончился встречей с местными писателями. Во время беседы вдруг появляются две японки. У одной, в кимоно, ребенок за спиной, у другой, в европейском платье,— на руках. Ножка у одной девочки и ручка у другой висят как плети.

— Мы узнали от добрых людей, что где-то в нашем городе проездом находятся три человека из СССР. Искали вас и вот наконец нашли. Простите нас. Мы слышали, что в вашей стране врачи изобрели лекарство против детского паралича. Для нас, И-ноуэ и Санака, бедных матерей, это последняя надежда. Простите нас. Мы ни разу не встречались с советскими людьми...

К. Я попыталась достать лекарство сразу же, как только Ирина Львовна привезла твое письмо из Японии. Было ясно, что болезнь так запущена, что надежды почти нет. Но, как на грех, в тот день ни в Фармацевтическом институте, ни в клиниках, которые я обошла, свободного галантамину не оказалось. Все понимали, что дорог каждый час, и все хотели помочь. Выход нашла невропатолог Марина Борисовна Эйдинова: у ее пациентки Тани Песковой был перерыв в лечении — и ампулы выдали мне для японских девочек. Их с любовью упаковали в первой же попавшейся аптеке.

Но тут новая задержка. Посылать обычным воздушным путем через Индию нельзя — галантамин не выносит жары. Ирине Львовне удалось узнать, что в Японию через Европу

и Северный полюс летит глава буддийской секты «Сингон» господин Кодзё Сакамото, который в Москве устраивал выставку картин своего друга — известного японского художника Томиока Тэссай. Передали ему галантамин, составили инструкцию на японском языке — и ампулы на другой день улетели.

М. Мне бы хотелось прочитать сейчас письма, которые пришли в Союз писателей из Симоносеки. Но боюсь, что это будет нескромно.

К. Читатель отлично понимает, что дело не в ваших личностях, а в отношении японцев к советским людям. Читай.

М. Вот одно письмо:

«Уважаемые советские господа!

Сегодня я получила от господина Мива восемнадцать ампул галантамина. Получить лекарство, которое невозможно приобрести в нашей стране, получить его так неожиданно быстро из Вашей уважаемой страны — может ли быть что-либо более радостным для меня как для матери?

Ласковая забота советских людей, я надеюсь, поможет моему ребенку хоть немного восстановить здоровье. Об этом я неустанно молюсь. Мы все, вся моя семья, никогда не забудем сегодняшнего дня.

Прошу передать мой горячий привет всем писателям, посетившим г. Симоносеки.

Молюсь об их здоровье и счастье.

Мисао Иноуэ»

Вот другое:

«Уважаемые советские господа!

Я была бесконечно рада, когда Вы, заехав ненадолго в

г. Симоносеки, так сердечно беседовали со мной, простой, бедной женщиной, и так близко к сердцу приняли мое горе. После этой встречи я ждала, думая: «Удастся ли получить ответ?» И вдруг счастливая весть из общества дружбы «Япония — СССР»! Сердце мое переполнилось радостью.

Когда я в тот вечер пришла на собрание, я думала только о том, как получить галантамин, который так нужен моему ребенку. И когда я думаю о том, что я, забыв стыд, забыв обо всем на свете, просила у Вас это лекарство прямо там, в зале собрания, и что вот теперь я так быстро и при этом бесплатно, совсем бесплатно его получила, мне кажется, что это сон.

Благодарю Вас от всего сердца! Я должна благодарить Вас снова и снова. Мне трудно оторваться от письма к Вам, но на этом разрешите закончить.

Почтительно кланяюсь.

Иосино Санака»

А вот что написал Ютака Мива:

«Мои дорогие, мои от всего сердца уважаемые друзья, воспоминание о которых я, моя жена и моя дочь сохраним на всю жизнь!

Мне довелось соприкоснуться с таким прекрасным проявлением человеческой любви, что от радости и волнения я почти не в состоянии владеть пером.

Матери больных детей, для которых Вы прислали лекарство, плакали от радости.

Прекрасная любовь к людям, которую проявили писате-

ли СССР, вызвала огромную сенсацию не только в г. Симоносеки, но и во всей Японии.

В моей семье каждый вечер за ужином только и разговоров что о Вас. Нам радостно, что Вам понравился мой бедный провинциальный дом.

Обязательно еще раз напейтесь чаю в моем доме. У меня в саду непрерывно цветут какие-нибудь цветы. Сейчас цветут азалии и розы, выращенные моей женой. Срезанные розы стоят в глиняных вазах, которые я сам выжигаю. Вся моя семья от всего сердца будет ждать Вас.

Спокойный, похожий на озеро господин Гончар!

Ласково улыбающийся, но полный твердости господин Михайлов!

Госпожа Львова, знающая и любящая японскую литературу больше, чем я!

Вместе со всеми японцами я, моя жена и моя дочь молимся о Вашем здоровье и счастье!

Ютака Мива»

К. Когда после этих писем японцы замолчали почти на два месяца, я очень беспокоилась. Думала: поздно, неудача. Галантамин не помог. Напрасная была радость — и теперь горькое разочарование...

И вдруг письмо:

«Процесс лечения идет весьма благополучно, больные рука и нога стали уже теплыми, в них чувствуется хорошее кровообращение, девочки начали поправляться. Мы не ждали такого сильного действия лекарства. Все поражены развитием советской науки и человеколюбием советского народа. Не знаем, как благодарить.

Иноуэ и Санака»





М. Вернемся к путешествию...

К. Из Осака мы на автобусе переехали в Кобе. Это совсем рядом, города слились друг с другом.

Жили на берегу моря в «Восточном отеле». Сразу же, как выйдешь, над тобой нависают высокие горы Рокко. Они покрыты нарядным лесом — пестрый кустарник, кудрявая сосна.

В городе современные здания. Улицы прямые. Окна домов широкие, как экран. Магазины. Крытые базары. Изочуренные павильоны.

Любовались городскими часами: на площади круг из ярко-желтых цветов. Белая стрелка. Время точное.

На фуникулере поднимались в гору, как в Тбилиси или на острове Капри. Вагончики движутся вверх мимо сопки и долин. На самом верху площадка для обозрения.

М. Площадки для обозрения устроены во всех японских городах, где это возможно. Есть площадка и на горе над городом Кумамото. Я ее запомнил потому, что на меня произвела впечатление надпись на столбе: «Все позаботимся о чистоте и все проведем здесь прекрасные часы».

К. Над Кобе, как и внизу,— торговля. Продаются деревянные куклы, игрушечные пагоды, пикантные гейши, красочные кареты, кораблики. На все это набрасываются иностранные туристы.

С горы хорошо виден порт с причалами и кораблями на

фоне Внутреннего моря: изрезанные берега, голубые заливчики, островки с соснами.

В Кобе приходят лайнеры из Европы, и поэтому, может быть, нигде на нашем пути не встречали мы столько туристов. Англичане, немцы, французы. Они заполняли весь наш отель, о котором в рекламе сказано: «Здесь встречаются мировые путешественники». Дымя сигаретами и болтая, сидели в кафе, где на голой стене изображена черная абстрактная птица. Толпились у лифта. Мелькали в стеклянной вращающейся двери.

В городе эти туристы попадались нам на каждом шагу. Шли парами со своими гидами. Бежали группами, навьюченные японскими камерами.

Отель наш стоял недалеко от порта. День и ночь трудились там портовые рабочие. Мужчины в темных комбинезонах и в мягких ботинках с выделенным большим пальцем и с кнопками сзади. Женщины в брюках, свитерах и **фартуках**. На работу многие приезжают на велосипедах.

В порту горы товаров. Я видела наклейки на тюках и ящиках: Англия, США, Индонезия, Индия... Но почему-то не встретила наклейки «СССР».

М. Могла бы встретить. Лет десять назад торговли с нами вовсе не было, а теперь есть. Японцы покупают лес, нефть, уголь, руду, станки. Продают нам машины для текстильной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности. Рядом с Кобе, в Осака, где ты только что была, для нас строятся суда. Оборот растет, но может расти еще быстрее¹.



¹ В 1964 году Япония по торговле с нами занимала среди капиталистических стран третье место, после Финляндии и Англии.

Торговля с нами японцам очень выгодна. Сибирь рядом — а сколько там сырья, нужного Японии! И японцы сами это претолочно понимают — вплоть до высших кругов. Но их сдерживают американцы.

Вообще — если бы не посторонние препятствия, у нас давно были бы с Японией мирный договор, живая торговля и самые лучшие отношения.

К. С народом и сейчас прекрасные отношения. В Кобе мы все время были окружены друзьями. Они собирались для встреч с нами группами. Портовые рабочие, рыбаки, педагоги, врачи, студенты.

Когда из Кобе уезжали дальше, в Хиросиму, на перроне были большие проводы. Секретарь японо-советского общества пришел с красным флагом. Просил прислать русский самовар. Блестящий, пузатенький самовар был передан представителю Кобе через несколько месяцев в торжественной обстановке в московском Доме Дружбы.

На вокзале все были с цветами. Роздали нам на дорогу леденцы в ярких мешочках...

М. Все это так. Правильно. Радостно. Но рассказ у нас односторонний. Разве ты не видела косых взглядов в Японии? К. Я прекрасно понимаю, что наш с тобой рассказ — однобокий. О косых взглядах неприятно вспоминать.

М. А надо бы. Иначе получается половина правды. Но рассказывать об этом нам трудно. И не потому, что неприятно. Главное — потому, что по самому характеру наших поездок мы не встречались с людьми реакционными и злобными, а их в капиталистической Японии, конечно, немало. Может быть, и встречались, но недоброжелатели были сдержанны и вежливы...

За все время я столкнулся с единственным случаем не-



вежливости, да, признаться, сам того не заметил. На кино-фабрике в жаркий день у меня был разговор с директором. Когда вышли, переводчик, милый юноша Тадаюки Иноуэ, говорит расстроенный:

- Как мне неприятно, что он вас обидел.
- Чем обидел?
- Принял без пиджака.

К. Ты спрашиваешь, видела ли я косые взгляды?

В Кобе, в вестибюле «Восточного отеля», все время тревожно сидели полицейские в штатском. Наверно, записывали имена наших друзей.

Один наблюдатель ездил с нами неотступно. Нельзя было отойти от отеля: сейчас же появлялась фигура сзади.

В Осака мы подружились со студентом, который звал себя по-русски Яшей. Когда мы уехали, его арестовали и допрашивали. Ничего плохого о нас он сказать не мог. Отпустили.

Как-то шли мы небольшой компанией по узкому переулку. И вдруг дорогу стремительно загораживают молодые японцы. Лица насуплены. Угрожающая интонация... Но обошлось.

Думаю, это были хулиганы. Они нам попадались. Хулиганов трудно отличить от гангстеров. Гангстеров множество в Японии — говорят, полтора-два тысяч. А гангстеров не отличишь от прямых фашистов.

М. В нашей поездке все было хорошо. Ни одного досадного случая. Но быть они, видно, могли.

В городе Фукуока на пресс-конференции неожиданно услышали вопрос:

- У вас уже были неприятности в Японии?
- Олесь Гончар спокойно ответил:

— А почему вы думаете, что в вашей стране с нами должны случаться неприятности? Их не было и, надеемся, не будет.

В городе Омута, где воздух насыщен борьбой, японцы просили нас не выходить из гостиницы без охраны. Из Омута в город Кумамото *мы* ехали в поезде в сопровождении двух юных шахтеров, которые сказали:

— Чтобы правые не обидели.

Осматривали Токио мы с японскими писателями в двух машинах, но была и третья. Там сидели двое господ в габардиновых пальто. Они держали руки в карманах.

— Это полицейские,— объяснили нам мимоходом,— на случай, как бы молодые из правых не ударили вас ножом. К. *Мы* видели так много хорошего в Японии, что все это забылось.

М. Ты забывчива. Большинство ищет дружбы с нами, но есть еще злое, активное и весьма влиятельное меньшинство.

Простые японцы встречают наших людей радушно, потому что знают: политика Советского Союза не противоречит их национальным интересам.

Советский Союз — сосед ближайший: всего лишь несколько километров морского пролива. С нашего берега без бинокля видны японские постройки. И японцы прекрасно понимают: при взгляде на Японию мы хотим того же, чего хотят они сами,— видеть эту страну дружественной, мирной и суверенной, подлинно великой.

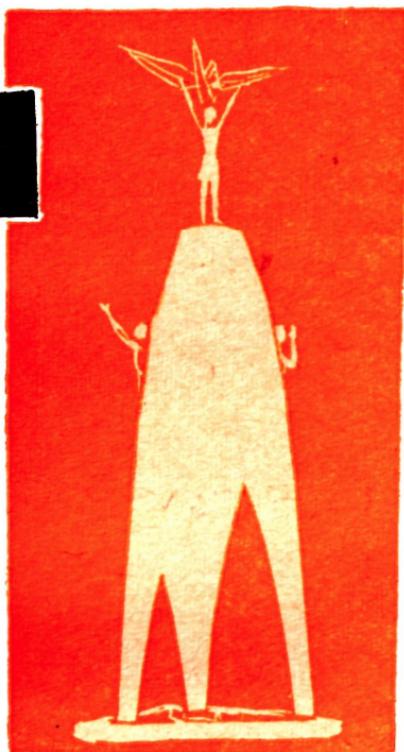
К. Не забуду такой случай.

В трамвае кондуктор выдал нам билеты. Присмотрелся. Прислушался. А потом, когда мы покидали вагон, вдруг с поклоном сказал:

— До свидания. Ходи еще Джапэн.



Мир
и
Война





К. Из Кобе мы в поезде по берегу моря приехали в Хиросиму... Я увидела новые и восстановленные здания, яркие столбцы рекламных иероглифов, потоки автомобилей.

Но шумные проспекты вдруг прервались — и мы очутились перед зданием Торговой палаты, от которого сохранился лишь скелет. Пустые окна. Голые железные стропила, когда-то державшие купол. Реконструкция города обошла этого мертвеца, чтобы оставить в назидание потомкам. Так коробка разрушенной мельницы оставлена у нас на берегу Волги.

Дом-скелет стоит у реки. Спасательные команды в августе 1945 года нашли ее сплошь заваленной трупами: горящие люди бросались в воду.



**Пепел
Хиросимы**

На другом берегу — парк Мира. Он засажен молодыми деревьями, присланными из разных стран, как в Лидице.

В парке—современное здание музея Мира, состоящее только из второго этажа, вместо первого — столбы. В музее страшные реликвии атомного бедствия.

Рядом — памятник погибшим. Он в виде свода или, скорее, скобы. Под ним что-то вроде алтаря, огонь, горка пепла. Неправдоподобно, как тяжелый сон,— тут мы увидели старую, полуслепую женщину. Она положила зеленую хвойную веточку рядом с нашим букетом. Тихо сказала:

— Все погибли. Из семьи я одна осталась.

Наша переводчица, Алла Сергеевна, заплакала.

Тяжело рассказывать. Ходила по человеческому пеплу. А надо описывать чувства...

Все это я, казалось, знала. Знала по рассказам, по газетам и фильмам, по медицинской литературе, по повести Романа Кима «Девушка из Хиросимы». Но в первый же вечер молодые врачи, муж и жена, открыли мне самое страшное. Такие юные на вид, совсем подростки. На встрече, к стыду своему, я подарила им игрушку... Засмеялись, не обиделись. Мы подружились.

Своими рассказами они заставили меня понять: смертельный налет на этот новый и красивый город продолжается. Многие продолжают страдать, продолжают гибнуть. Лучевая болезнь все разрушает в человеке.

Меняется кровь: число лейкоцитов с пяти — восьми тысяч в кубическом миллиметре падает до тысячи, нескольких сот и меньше, наступает лейкопения. Красные шарики распадаются, и это ведет к анемии.

Поражаются сосуды. Они становятся проницаемыми, ломкими. Кровь не свертывается. Возникают кровотечения.



**Атомный
ужас**

Костный мозг как бы высыхает, его клетки разрушаются — он перестает обновлять кровь.

Атрофируется печень.

Выпадают волосы.

Крошатся ногти.

Мучает бессонница.

Язвы от лучевых ожогов не заживают.

Парализуются руки и ноги.

Слабеет память.

Невыносимо болит голова.

Гаснет зрение.

Наступает полная апатия...

Я видела этих больных. Они медленно умирают...



М. Я тоже их видел. Директор атомной больницы доктор Фумио Сигето ввел нас в одну из палат. Там были двое. Мы, поклонившись, положили на постель коробку с гостинцем. Врач снял с больного рубаху—вся спина в темных глубоких рубцах.

— Житель Хиросимы. Лучевая болезнь, поражение кожи, рак легкого.

К. Рак — частое осложнение лучевой болезни.

М. Подошли к другой койке.

— А это житель Нагасаки. Лучевая болезнь, поражено лицо.



Человек вскинул на звук голоса изъезженные черные глазницы. Я взглянул, только взглянул — и вышел.

К. Жизнь обрывается внезапно, из-за лопнувшего сосуда. Больные в тоске и страхе. Они знают, что вот-вот умрут. Ждут смерти каждый день.

Записала цифры в блокнот — в Хиросиме за год умирает до 1000 человек, в той или иной мере пострадавших от атомной радиации; 40 процентов мужчин, испытавших взрыв бомбы, не имеют работы.

М. А вот запись в моем блокноте:

«Слова директора музея Сёго Нагаока. Он друг Роберта Юнга, известного нам по книге «Ярче тысячи солнц»:

«Сейчас в Хиросиме насчитывается 120 тысяч человек, перенесших взрыв. Из них обследована половина. Из обследованных треть имеет изменения в физическом состоянии...»

Директор музея до взрыва работал преподавателем университета. Он облюбовал в одной лавке немецкую кружку для пива. Очень хотел ее купить, не раз приценился, но торговец слишком дорого запрашивал. «Посмотрите на этот бесформенный спекшийся предмет. Та самая кружка. Я нашел ее седьмого августа в пепле на том месте, где стояла лавка...»

В центре взрыва температура была так высока, что плавился камень и песок. Черепица покрывалась пузырями.

На фотографии в музее — человек, изуродованный взрывом. Слова директора: «Сын профессора, выжил, работает на гидростанции. Приехал с острова Сикоку, увидел выставленный снимок и очень на меня рассердился...»

К. Нужны силы, чтобы преодолеть свое собственное уродство. Мне рассказывали об учительнице Сидзуко Огата.

Страшные ожоги сделали ее безобразной. Дети от нее разбегались, называли «страшной». Родители считали, что ей при ужасной внешности нельзя быть учительницей. И все-таки она не захотела менять профессию и упорным трудом, выдержкой добилась любви учеников.

М. Директор музея продолжал: «И вот этот приходил. Посмотрел на свои ожоги. Очень испугался...»

«Мои последние исследования показали, что бомба взорвалась на высоте 606, а не 570 метров, как предполагалось, и что железные конструкции еще хранят повышенную радиоактивность...»

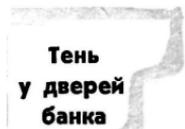
К. Мне запомнилась фотография кусков кожи и обломков ногтей: от невыносимой боли маленький мальчик восемь дней и восемь ночей рвал на себе кожу — пока не умер.

А помнишь часы? Они, наверно, чуть спешили: показывают восемь шестнадцать. Бомба была сброшена в восемь пятнадцать.

Мои друзья — врачи из Хиросимы — считают, что тому человеку, хозяину часов, было легче. Он погиб сразу.

М. Один человек погиб сразу, но оставил нам свою тень. Сколько раз я об этом читал! Но нужно было увидеть. У дверей банка Сумитомо — он восстановлен и, кажется, преуспевает — заборчиком огорожена ступенька, на которой в то утро он сидел. Прямые лучи взрыва обесцветили каменную стену. Песчаник порыжел, посветлел. А на ступеньке человеческое тело задержало лучи — и камень остался неповрежденным, темным. Говорят, бетонные перила моста сохранили тени велосипедистов. Между прочим, углы теней и помогли определить эпицентр взрыва.

Передо мной была тень, оплаченная жизнь. А совсем рядом, у той же двери, — послушай, послушай! — банк Су-



митомо, имеющий отделение в Америке, выставил рекламный стенд, на котором нарисованы небоскребы Манхэттена! К. Врачи не показывали мне теней страшного прошлого. Их заботит будущее. Сказали: в Хиросиме от взрыва погибло двести шестьдесят восемь тысяч человек. Но этот счет неполон. Чаще, чем прежде, рождаются обезображенные или мертвые дети. У некоторых нет глаз, нет органа слуха. И еще горе: растут дети умственно отсталые. Для них сейчас открыты школы с пониженными требованиями. Кроме того, многие из перенесших легкую форму лучевой болезни бездетны. Мужчины мучительно переносят бессилие. У женщин ранний климакс.

На улицах я думала о каждом: «Ты болен? Ты потерял близких? У тебя родился ребенок-урод?»

Врач вынул из кармана газету и прочитал: вчера, 8 января, девушка семнадцати лет покончила жизнь самоубийством. Болела лучевой болезнью, которая неожиданно осложнилась слепотой.

Недавно, уже в Москве, я прочитала перепечатку из японской газеты «Майнити»: в Хиросиме умертвил себя тридцатисемилетний мужчина. Он не испытал взрыва, но работал в спасательном отряде.

Так в Хиросиме продолжается атомный налет.
М. Американский атомный налет.



К. Много странного на свете, но это, кажется, я никогда не смогу понять: зачем они сюда едут и едут?

Уже на вокзале меня больно кольнуло: отлично одеты, спокойны, веселы — целыми вереницами. Я прекрасно понимаю, что непосредственно они не виноваты, даже, может быть, осуждают. Но ведь в этом городе громко говорить и то кажется кощунством.

М. Многие из них безупречны — мы с тобой это знаем. Мы были в домах у них — и они остались нашими близкими друзьями... Но как это страшно: в больнице — черная спина и выжженные глазницы, в музее — обрывки кожи и обломки ногтей маленького мальчика, умершего в муках, а в книге отеля на той странице, где мы, приехав, расписались, — невероятно:

Откуда: USA.

Цель приезда: Business and pleasure.

К. Быть не может! Бизнес и удовольствие? В Хиросиме?

М. Легко проверить: гостиница Мацумаса, 20 апреля 1961 года. И самое постыдное — судя по фамилии, это американец японского происхождения.

А вот тоже: в известном американском журнале «Нэшнл джиографик мэгезин» появилась большая статья «Япония — прелестная загадка».

К. Хорошенькое название.

М. Написал старший помощник редактора Фрэнк Шор. Он прибыл в Хиросиму, чтобы с умилением процитировать Евангелие от Луки:

«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь... Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную...»

К. Утешил! Какое злое ханжество.





Пусть меня обвинят в несправедливости, но, ей-богу, американцы в Японии раздражают. Может быть, действительно происходит отбор? Американцы в Японии — это, как правило, военные, бизнесмены да богатые туристы. И вот такие изуверы.

Но есть же совесть!

Американский летчик Клод Изерли, как известно, в то утро 6 августа был послан на метеорологическую разведку и, очутившись над Хиросимой, радировал: «Видимость хорошая, начинайте!» Через час прилетел другой самолет, с нежным женским именем «Энола Гей» в честь матери командира корабля полковника Тибэтса, и сбросил бомбу. С чисто американским балагурством ее называли «тыквой», «штучкой», «крошкой» и «худышкой». Изерли только что видел сверху клумбы цветов в Хиросиме — и содрогнулся перед тем, что произошло. Начались пытки совести. Он не мог найти себе места. Во время испытаний на Бикини его самолет метался в воздухе, окунался в смертоносное облако. Может быть, тогда Изерли искал гибели? Его уволили. Дали пенсию — 237 долларов в месяц, но он отказался. Тогда вручили документ — «болен психическим расстройством»,

Изерли считал себя преступником и требовал, чтобы его судили. Он говорил: «...общество не может признать меня виновным, не признав в то же время, что оно виновно гораздо более меня». Посылал деньги детям в Хиросиму, просил его простить. По ночам его мучили кошмары. Он будил жену страшным криком: «Дети! Дети! Кто спасет детей? Они горят!» Изерли так страдал, что вскрыл себе вену, но ему не дали умереть. Чтобы заставить замолчать, запрятали в психиатрическую больницу в одном тexasском го-

родке — заточили в палату № 10, к самым иступленным... Ал. Рядом с этим несчастным американским майором я вижу бывшего президента Трумэна. В попытке испугать СССР он приказал бросить атомные бомбы на Японию. Позже на вопрос, было ли в его жизни событие, в котором он раскаивается, Трумэн ответил:

— Да, есть один поступок, в котором я раскаиваюсь: почему я не женился раньше!

А другой американский летчик, Суиней, сбросивший бомбу на Нагасаки, дослужился до генерала и, говорят, рвется в бой...



К. В Японии я видела американцев самодовольных, нагловатых. В Осака, например, встретила не то медика, не то дельца. Был обходителен и слегка навязчив, в разговоре сказал:

— Дети выросли, жена ударились в католицизм, из Чикаго переселился в Японию. Как ее нахожу? Страна чар! Страна тайн! Но я доволен. Глютаминовая кислота продается отлично.

В Токио один рыжеватый, крупный, румяный, в штатском, но с очень бодрой выправкой вел миниатюрную япончку. В манере кавалера чувствовалось что-то хозяйское. Я уловила осуждающий взгляд двух молодых японок, которые оглянулись. Не думаю, что они обвиняли только свою соотечественницу.

Хочу тебя спросить — как, по-твоему, японцы относятся к американцам? Не в Хиросиме, конечно,— тут вопроса нет. М. А напрасно ты Хиросиму так безоговорочно выделяешь. И в Хиросиме народ разный. Знаешь ли ты, что здесь, как это ни странно, довольно много реакционеров? Борьбе основной массы хиросимцев против войны и атомной бомбы они не помогают, а мешают. Мне это так объяснили: еще в начале века много людей переселилось отсюда на Гавайи — и установились тесные связи Хиросимы с американским капиталом.

К. Не знала. Мне только известно, что в Хиросиме во время русско-японской войны была ставка императора...¹

Так как же, по-твоему, в Японии относятся к американцам?

М. Богатых людей я об этом, сама понимаешь, не спрашивал.

Не нужно было спрашивать и рабочих. Помню, когда меня в Токио звали на празднование Первого мая, я сказал друзьям:

— Присутствовать буду, а участвовать — нет. Борьбе вашей сочувствую, но смотрю со стороны. Иначе заявят, что гость вмешивается в японские дела.

В ответ услышал:

— Хорошо. Мы, правда, боялись совсем другого: как бы рабочие не приняли вас за американца.

А вот как к американцам относятся интеллигенты, я пытался выяснить. Ответил бы так: относятся по-разному, но

¹ К сожалению, в последние годы борьбе хиросимцев и всего народа Японии против войны и ядерного оружия мешает раскол, возникший в японском движении за мир.

в целом к американскому империализму отрицательно, к рядовым американцам с внешней стороны хладнокровно.

К. Это, конечно, не хладнокровие, то есть не безразличие. Выдержка, корректность и терпение. Я читала страшную новеллу Нисино «Дети смешанной крови». Униженные американцами японки терпят обиду, нищету. Дети, рожденные от американцев, никому не нужны. В Японии это целая проблема: дети успели подрасти. Надо было бы кричать от горя. Где-то глубоко затаенная ненависть.

М. Ненависть иногда прорывается — чаще у простого народа. А интеллигенты сдержанны. Большинство из них против американского империализма, но это не исключает весьма распространенного взгляда, что после войны экономически Америка сильно помогла Японии. Многие понимают, что помогла она в собственных интересах и с далеко идущим умыслом, а некоторые продолжают оставаться при странном мнении того буржуазного писателя, который сказал мне:

— Империализм Америки — наш враг, а капитализм Америки — наш друг.

Я думал обо всем этом — и, путешествуя по Японии, с интересом читал в газетах статьи, где комментировалась смена американских послов. Как раз в то время был отозван Дуглас Макартур-младший и назначен Эдвин Рейшауэр. Человека из военной семьи, по-видимому более прямолинейного, менее гибкого, заменили профессором истории, который родился и долго жил в Японии, говорит по-японски. К. Я видела его портреты в газетах. Женат на японке. Хорошо играет в японские национальные игры. Часто дарит подарки японским детям.

М. По-видимому, Рейшауэр направился в Японию с наме-



**Ненависть
народа**

рением установить более широкие контакты с интеллигенцией. Ход понятный, но газета «Джапэн таймс» писала так: послевоенная японская интеллигенция полевела, и представителю Америки будет с нею нелегко.

«Джапэн таймс», японская газета на английском языке,— издание, конечно, проамериканское, но видишь, что пишет.



К. Пора возвратиться к Хиросиме. Хиросимские врачи — тоже интеллигенты, и у них есть свое отношение к американцам.

Я знаю о возмущении, негодовании... Но тут целая история, отчасти медицинская, я расскажу.

Вскоре же после взрыва японские ученые разных специальностей начали изучать его последствия. В августе 1945 года японский врач Охаси после вскрытия жертв атомного взрыва первым написал о новой, ранее невиданной «радиоактивной болезни», — теперь мы ее называем «лучевой болезнью». Он нашел прогрессирующее поражение костного мозга и катастрофическое разрушение крови. Послал доклад в военное министерство, в надежде, что известят больницы, немедленно примут меры для спасения больных. Но началась американская оккупация. Открытие новой болезни, боясь огласки, засекретили.

В сентябре 1945 года японский медик Цудзуки, поработав в Хиросиме, тоже описал клиническую картину болезни

**Борьба
хиросим-
ских врачей**

и предложил лечить больных витамином С, полным покоем, пищей, богатой белками. Но снова американская военная цензура наложила запрет—она боялась, что всплывет весь ужас...

М. Масао Цудзуки, о котором ты говоришь, умер от рака легкого. Может быть, рак был последствием облучения?

Недавно погиб от белокровия другой ученый, тоже после взрыва работавший в Хиросиме и Нагасаки,— Контти Мурадзи.

Профессор Арата Осада, знаток педагогики, переводчик Песталоцци, Амоса Коменского, Макаренко, Крупской, жил в Хиросиме и тоже пострадал от облучения. Он скончался за день до нашего приезда. Мы посетили его печальный дом. Вместе с семьей молча посидели на циновках перед белой урной, портретом в траурных лентах, курящимися палочками, живыми цветами — и томами сочинений, посвященных воспитанию счастливых людей на земле.

К. Я продолжаю. В октябре 1945 года американский полковник Мэйсон приказал закрыть японский госпиталь, где уже начали лечить лучевую болезнь. Американцы конфисковали истории болезни, результаты исследований, патологоанатомические препараты и фильм, где была снята работа профессора Тамагава с пострадавшими. Даже изъяли картины одного художника — на них были слишком ощутимы страдания. У людей вытекли глаза, кожа висела клочьями, застыли гримасы ужаса... Но японцы попытались восстановить то, что у них отняли, и даже сумели издать нелегальную брошюру о лучевой болезни.

Так шла борьба. И сейчас она продолжается.

Американцы построили в Хиросиме специальный институт для изучения атомной болезни — на холме, где когда-то

была резиденция императора Мэйдзи. В красивом парке Хидзияма над городом японцы любили проводить свои национальные празднества. Американцев просили построить это страшное учреждение в другом месте, но они не посчитались. Обидели, оскорбили японцев. Теперь там уже нет прежних народных гуляний.

М. Я там был, как и ты. Прежних гуляний нет, но что-то еще есть, с трагическим оттенком. Постоянно туда ездят, смотрят сверху на родной город, расстилают на земле циновки с едой, поют свои песни — а рядом круглые крыши этого беловато-красного американского здания.

К. Хиросимцы пренебрежительно называют его «дворцом рыбного пирога». Говорят, оно формой похоже на пирог с лососиной, испеченный в виде сосиски.

В этом институте американские медики — наверно, весьма квалифицированные — исследовали уже свыше 75 тысяч больных. Изучали их годами и были свидетелями мучений и смерти.

Включают биохимические, физиологические аппараты. Берут для исследования кровь и спинномозговую жидкость. Смотрят в микроскопы. Считают клетки костного мозга, чтобы удивляться, как они превращаются в вакуоли — в ничто...

Они наблюдают «естественный исход» страдания. Чистый эксперимент без вмешательства! Без искажения лечением!

Такая деятельность американцев вызывает гнев японских врачей, ненависть жителей Хиросимы.

Все это так чудовищно, что некоторые честные американцы не могли молчать. Прочту, что Норман Казинс,



редактор журнала «Сатерди ревью», писал, посетив Хиросиму:

«Я думаю о тех миллионах долларов, которые США ассигнуют Комиссии по изучению последствий атомных взрывов. Конечно, в принципе перед этой Комиссией стоит прекрасная и очень важная задача — рассказать нам о судьбе, ожидающей человечество в случае развязывания атомной войны. Однако, несмотря на то что Комиссия располагает баснословными денежными средствами, она ничего не предпринимает для оказания помощи жертвам бомбы. Комиссия исследует пациентов, но не лечит их. Мы имеем дело с парадоксальным фактом, когда специальное медицинское учреждение расходует тысячи долларов, чтобы обследовать человека, страдающего лучевой болезнью, но не жертвует ни одного цента на его лечение...»

М. Хорошо, что ты дала слово американцу. Пусть будет защищена честь американского народа.

К. Вот еще один случай: американский врач осматривал в Хиросиме больного с лучевыми поражениями и, не справившись со своим чувством ужаса, воскликнул:

— Мы действительно совершили нечто чудовищное!

И что же ты думаешь? Этого доктора, как и летчика Изерли, объявили психически больным. Он, видите ли, потерял контроль над своими поступками, его надо изолировать в психиатрической больнице соседнего города Куре...



М. Может быть, американские врачи не лечат, потому что не умеют?

К. Конечно, умеют. Дело не в этом. Все знают, что в Лос-Аламосе вскоре после того, как там были изготовлены бомбы, сброшенные на Японию, произошли две аварии атомного котла — девять американцев пострадали от сильного облучения, двое из них умерли. Больных же лечили! Американские врачи Гемпельман, Лиско и Гофман написали об этом монографию «Острый лучевой синдром», которая у нас переведена. Переведен роман американца Мастерса «Несчастный случай», построенный на тех же фактах.

А сколько вышло с тех пор новых медицинских публикаций — и за границей и у нас. Например, в 1955 году Международная конференция по мирному использованию атомной энергии в Женеве предложила определенное лечение. В 1958—1959 годах весь мир узнал об успехе врачей Жаммэ, Матэ, Летарже и других из парижского Института имени Кюри. Шести пострадавшим от катастрофы в югославском Институте ядерной энергии они впервые ввели костный мозг здорового человека — и костный мозг больных обновился, стал вырабатывать кровь... Вот если б к больным в «рыбном пироге» было такое внимание!

Ты говоришь: «не умеют». Просто не хотят.

Кто может поверить, что в нашем мире больные умирают под равнодушным взглядом медиков и ученых из богатой, культурной и, как объявлено, дружественной страны...

Я помню благородный памятник врачам на одной из улиц Хиросимы: тесно скрестившиеся строгие линии устремлены ввысь. Символ дружно сплетенных рук.

И помню парк Хидзияма на холме, эти беловато-крас-

ны в выпуклые корпуса, где сидят люди, чуждые добра и милосердия. Справа — кладбище. Внизу, за парапетом, — Хиросима...

Еще помню песню, суровую как клятва. Сначала мужские низкие голоса повторяли те самые слова, что написаны на памятнике погибшим от атомной бомбы: «Спите спокойно! Пусть никогда не повторится Хиросима!» Мужчины были серьезны, и лица их обострились и как бы окаменели.

Затем вступили женщины. И полилась тихая, торжественная, грустная песнь о той маленькой больной девочке Садако Сааки, которая, чтобы спастись, хотела сделать тысячу бумажных цуру. Ты знаешь: цуру — это что-то вроде журавля или цапли. Длинноногая водяная птица, любимая японцами, символ благополучия. Узнав об этом, дети со всей Японии и из разных стран слали девочке бумажных журавликов. Но не успели. Девочка умерла от лучевой болезни.

Клятва
японцев



М. Мне приходилось раньше слышать о бумажных журавликах, и вот я с ними столкнулся. Рано утром к нам пришла хромая женщина — Токиэ Кавамото. Она хромает потому, что еще девочкой попала в атомный взрыв. Сейчас отдает все свои силы детскому «Обществу журавликов». Ребята — японские тимуровцы: по своей воле помогают пострадавшим от атомной бомбы. Недавно дети узнали, что в Хиросиме будут проездом люди из Советского Союза, — и спле-

ли почетный венок из бумажных журавликов для Гагарина. Токиэ Кавамото принесла нам эту шелестящую разноцветную гирлянду вместе с матерчатой куколкой... Летом 1961 года под Москвой подарок был вручен Юрию Гагарину на одном из пионерских слетов.

К. Я смотрела сверху, с холма, на город, и мне все говорило о несчастье: и единственное оставшееся испепеленное дерево, и изуродованный остов дома, и мемориальная скоба, как символ согнувшегося горя, и горячий пепел от сожженных еще сегодня свеч, и свежесорванные хризантемы у памятника детям «в честь их душ»...

Закрывала глаза и видела перед собой не город, а огромный бурлящий котел, клубы черного, серого, оранжевого дыма — и белый гриб вверх, похожий на человеческий череп.

Но вдруг мне бросилась в глаза необыкновенная картина. Слева, на площадке холма, старик художник, в очках, с тоненькой бородкой, в круглой шапочке, сидел в окружении детей и поправлял акварель мальчика, ученика. Я подошла, взглянула на мольберт, на яркую синюю краску неба — и ахнула: над заново рожденным городом летит тот самый журавлик из грустной песни, но веселый, живой, как и сам рисовальщик!

Значит, не все погибло!

И тут я заметила яркое солнце и группу японских студентов-туристов, впервые приехавших «посмотреть новый город».

И старик, и дети, и все японцы любовались с холма своей Хиросимой!

Город раскинулся действительно широко: видны были высокие квадраты деловых и торговых зданий, строгий и



внушительный кафедральный собор Мира, новая гостиница, парки и автостреды с разноцветными машинами.

Суровая песня сменилась лирической: «Луна над старым замком. Слышен мой одинокий вздох...» И уже звучит песенка шуточная: «У ленивого Хейсаку вырос длинный нос...»

Ехали с холма в город мимо стадиона. Там шла азартная, самозабвенная игра в регби. На автобусах и трамваях мелькали смешно нарисованные яркие зайцы и собаки. По детской железной дороге катился поезд. Машинисты, кондуктора, пассажиры — всё дети.



После в парке Мира я остановилась у дерева, опаленного взрывом. Оно заботливо перевязано, как ветеран. А вдруг на нем зазеленеют отростки?

Сегодня, как и вчера, у памятника погибшим склонились скорбные фигуры. А рядом по асфальтовой дорожке летели на велосипедах японские мальчишки. Они соревновались в виртуозности езды и распевали песенку.

Вечером в отеле «Нью Хиросима» звучал свадебный напев. На невесте был надет традиционный белый головной убор. На ногах — высокие золотистые гэта.

Свадьба была веселая. Долго играла музыка.

Говорят, теперь многие приезжают справлять свадьбу в Хиросиму. Назло смерти.

Подпрыгивающие мальчики несли за невестой нарядные

коробки с подарками. В раскрытой коробке я увидела вазу — и на ней все ту же серебряную птицу со смелым изгибом крыла, японский символ счастья. Ту же невинную птицу в чистом небе, которую много раз встречала нарисованной в стиле «изморозь» на картинах старой школы Окё и которую встретила сегодня на акварели смешливого мальчишки.

В тот же прощальный вечер у нас были гости из общества «Япония — СССР». Много шутили. Мы распаковали московские свертки с альбомами, духами, пластинками, куклами... Я храню с того вечера платочек с изображением Фудзи.

Мастер часовых дел, старый японец, тогда сказал нам совершенно серьезно, что он чувствует в себе силы починить неисправные часы во всем мире.

При расставании я напомнила молодым врачам, моим хиросимским коллегам, трехстишие Басё:

Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветет
Большая хризантема.

Последнее, что мы увидели в городе, — широкое панно на одной из улиц: веселые дети под солнцем.

Из Хиросимы ехали сначала меж холмов, густо покрытых низкими соснами, потом через реки, сквозь рощи бамбука, можжевельника и туи. В просеках видели селения. М. Вот ты и успокоила себя после трагических впечатлений. К. Рядом с дорогой, справа, расстилось Внутреннее море. Синяя вода, архипелаг маленьких лесистых зеленых островков, белая песчаная полоса у их подножия, плоские лодочки, далекие берега...



М. А ведь успокоилась ты прежде времени. Я сейчас расскажу тебе об одном моем переживании в Японии.

За два дня до Хиросимы приехали мы в большой город Кокура в северной части острова Кюсю, поселились в гостинице. Клетка с зеленым попугаем, всюду цветы — и даже, пусть читатель простит мне подробность, но это беспристрастная похвала Японии: у двери «Gentlemen» — ваза с чудными свежими тюльпанами, а у двери «Ladies» — букет камелий «дева».

По одну сторону от города — кудрявые, веселые холмы, по другую — густая синева Симоносекского пролива. Город очень живой, деятельный: высятся этажи домов, фабричные трубы и башни домен, мчатся автомобили, звенят трамваи, скрежещет квартал механизированной рулетки «пачинко», народ толпится у магазинов, ресторанов и кино... Вечером прямо против моего окна, в темноте, высоко на углу здания, я увидел громадные, яркие часы. Часы без циферблата и стрелок — каждую минуту вспыхивает новая цифра из электрических лампочек. Когда смотришь и ждешь — минута тянется без конца, когда отвлечешься — время быстро убегает. Перед сном я долго смотрел на этот отсчет вечности над мирным городом и думал: проходят минуты, проходят годы, не прерывается жизнь...

А утром я узнал вот что. В 1945 году у американцев бы-





ло только две атомные бомбы. Два японских города были обречены — выбор предоставили авиагруппе 509, которая находилась на тихоокеанском острове Тиниан: Хиросима, Кокура или Нагасаки. Первой, 6 августа, была уничтожена Хиросима. Через три дня бомбардировщик вылетел на город Кокура. Город, который сейчас полон жизни, город под часами неиссякаемой вечности должен был погибнуть со всеми своими людьми, с детьми и стариками. Но легкое облачко, в то утро повисшее между холмами и проливом, чуть испортило видимость. У американского летчика был приказ — бросить бомбу без ошибки в самое густонаселенное место. Три раза прошел пилот над зыбкой полоской тумана, посмотрел, подумал — и принял решение лететь со своей бомбой в Нагасаки.

К. Эту вторую бомбу американские весельчаки называли не «худышкой», а «толстушкой».

М. Вот теперь слушай. В Японии около 200 американских баз. Когда я из Токио ездил в префектуру Сайтама, то и дело попадались загадочные постройки за высокими белыми заборами с крупными черными буквами «U. S. Army». Есть эти кусочки Америки и в самом Токио: известен спор города с американским командованием об участке, который был необходим для Олимпийских игр 1964 года. Американцы с баз предпочитают ходить по японским улицам в штатском. Но я встречал в Токио и военных: мимо отеля, где я жил, тихонько продвигался высокий офицер в защитной форме, с золотой кокардой, в очках с зелеными стеклами, и с ним — два солдата, один из них негр. Из английских изданий японских газет каждое утро я мог узнать, какие фильмы идут в кинотеатрах американской армии. Острова Окинава и Огасавара, как известно, вовсе оторва-

ны. На Окинаве создана самая мощная из всех атомных баз, и поднимать японский флаг там преступление...

Во второй мировой войне Япония потеряла четвертую часть национального богатства и полтора миллиона человек убитыми. Я видел дощечки у дверей с иероглифами: «Дом оставшихся». Японский народ ненавидит войну.

И вот все начинается снова...

Конституция запрещает Японии иметь армию, но, вопреки этому и вопреки воле народа, в стране под главенством американцев созданы «силы национальной обороны», которые включают пехоту, танки, авиацию и флот. Подобно тому как из рейхсвера вырос вермахт, из «сил национальной обороны» выросла современная японская армия — в ней четверть миллиона человек и американское оружие. Японские фирмы и сами уже строят подводные лодки, эсминцы, управляемые снаряды, реактивные сверхзвуковые истребители, военные двигатели, которые могут работать при морозе в 56 градусов. Армия оснащается ракетами.

У власти в Японии стоит либерально-демократическая партия, партия крупных капиталистов. Она не жалеет денег на выборах, но ей не удастся собрать в парламенте двух третей голосов. А имея она две трети голосов — отменила бы знаменитую девятую статью конституции: «Японский народ навсегда отказывается от войны, как суверенного права нации». Пункт этот властям мешает, хотя они его и обходят.

Японские деятели заявили, что уже сейчас по боевой мощи «силы национальной обороны» в несколько раз превосходят старую императорскую армию и что скоро Япония будет располагать ядерным оружием.

Американские генералы в конце войны отняли у Япо-



нии, но теперь снова вернули ей священные самурайские мечи...

Кто не понимает, что вооруженные силы на Японских островах не силы обороны, а силы нападения?

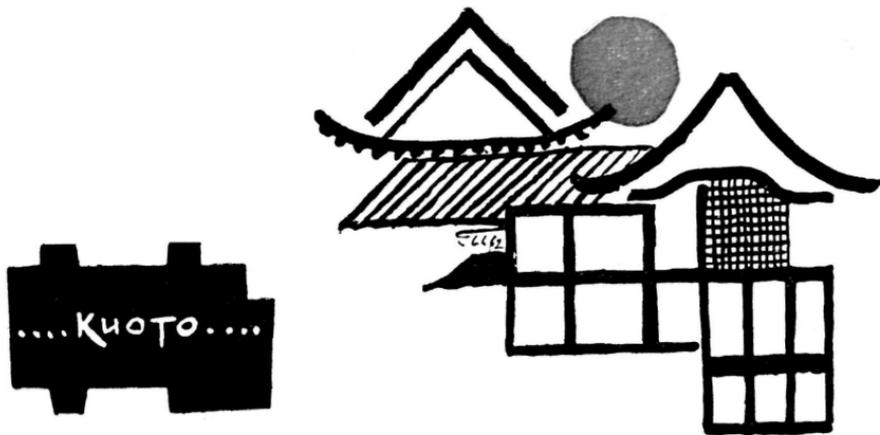
К. Что будет, если в какой-то момент их бросят на материк? Натворят бездну зла и горя.

М. Что будет тогда с самой Японией?





ЯПОНКА
И
ОБЩЕСТВО



К. После Хиросимы мы направились в древнюю столицу Японии — Киото. Ехали туда машиной из Осака меж гор по узкой петляющей дороге. Мелькали чайные плантации. Японский водитель, на наш взгляд, был настоящим лихачом. Он весело смеялся, когда мы пугались на неожиданных зигзагах.

Остановились осмотреть чайную фабрику. Чисто. Рабочих мало. Красивая упаковка.

В домиках рабочих бедно, опрятно. Тесно так, что мы могли входить только по двое. Серьезные дети старательно помогают взрослым.

Пили, вернее, дегустировали чай в просторном кабинете директора. Сняв туфли, сидели на шелковых подушках

за низкими столиками. Широкие окна-стены. Вид на склоны с зелеными грядами чая, с красноватым кустарником. Будет из трех хризантем. Лакированный пол.

Чай нам подавали молодые японки в шелковых кимоно. Принесли горячий золотистый напиток в маленьких чашечках. Очень низко поклонились и бесшумно исчезли.

Сколько раз коробил меня в Японии этот приниженный поклон, покорно согнутая спина женщины. Не слишком ли низко для простой вежливости? Не слишком ли?

М. Догадываюсь, к чему ты клонишь. Наверно, не только для тебя, но и для других наших путешественниц эти впечатления были болезненны. Но я тут же, сразу, с места в карьер противопоставляю тебе тезис: пример нового в Японии — ее женщина.

К. Извини, но в этом деле ты не компетентен. Есть вещи, которые ты просто не способен ни заметить, ни понять, ни прочувствовать. Ты наверняка не обратил внимания, что в семейных японских домах хозяйка умеет тихо и неуловимо исчезать. Появляется с угощением; если говорит, то очень учтиво и любезно, прикрывая рот ладошкой, а потом с застенчивой улыбкой скрывается за дверью.

Всегда меня мучило неловкое чувство, когда в театр, в кафе, в бар, в кино японцы приходили без жен.

Невольно думаешь: мужчина подчеркивает свое превосходство, а японка привыкла, смирилась.

М. Неужели я такой невнимательный? В защиту могу привести случай, который, кажется, противоречит моему тезису. В том же самом Киото в дождливый день мы шли с Ириной Львовной. Она держала над собою зонтик, и вдруг сзади японка, не думая, что ее поймут, говорит своей подруге:



— Смотри, какая нахалка: сама идет под зонтом, а муж-чина мокнет!

И все-таки я повторяю: в Японии перемены ни в чем, может быть, не сказались так ярко, как в судьбах женщины.



К. Нет, мне очень грустно. Именно в Киото я поняла: в Японии женщина слишком часто принижена.

В самом начале ты уже слышал, что в самолете я сидела рядом с японкой, летевшей из Индии, — с Тиёко К., моей ровесницей и коллегой, жительницей Киото. Мы разговаривали. Условились в Киото встретиться. И вот я здесь, и *мы* снова увиделись, нашли друг друга...

М. Я прерву. На время женский вопрос оставим. По нашему плану полагается описание города Киото.

К. Я и описываю Киото. После чайной фабрики мы приехали в отель, весьма современный для города с древними храмами, тихими парками, зеркально застывшими прудами, чайными церемониями, традиционными шествиями... Черный кафель в ванной, транзистор-малютка у изголовья, письменный столик со скрытым внутри зеркалом, голубой телефон, синтетический ковер под ногами.

Из окон широкий вид на вокзальную площадь. Два раза в день — рано утром и вечером — открывалось одно и то же красочное зрелище. Тесным потоком люди бежали к поезду или с поезда. Мимо вокзала куда-то стремительно



мчались на велосипедах, чтобы не опоздать. В этом потоке были не только мужчины, но и женщины, много женщин. Рабочая выглаженная одежда. Большинство в брюках. Стриженные головки или высокие прически. Многие в платках. Завтраки упакованы в коробочки или в фуросики.

Быстро и деловито поток прибывал утром. Утомленно, но торопливо спадал уже при зажженных огнях.

Я любовалась японками. Когда было время, выходила на улицу и смотрела. Чистота и аккуратность. Собранность, сдержанность и грациозность в движениях. Приветливые улыбки на розовых губах молодых. Мягкие, спокойные морщинки у старых. Впрочем, старых было мало — таких не держат.

М. Да и такие ли уж они старые, если сосчитать года?

К. Я вглядывалась в лица этих тружениц с чайных плантаций, с шелкопрядильных фабрик, из торговых контор. И мне казалось: под сдержанной и приветливой манерой притаилась сердитая тоскливость.

М. Чему же им радоваться? За одинаковый труд получают вдвое меньше, чем мужчины.

К. Под беспечным смехом — подавленность, озабоченность, скрытые слезы.

М. Ты увидела боль. Конечно, в их душах мучительная боль. От изнурительного труда, от безденежья, от забот. Но ведь сознание боли к человеку приходит не во сне, а с пробуждением.

К. Насчет боли Тиёко со мной не согласилась.

М. Вернее, не захотела согласиться.

К. Она сказала: «У них мало радости, но они ее добьются. Разве вы не видите?» Я старалась увидеть.

В Киото мы осматривали дворцы и парки. По аллеям

из криптомерий, сосен и дубов матери водили детей обозревать прошлое Японии. Что-то мне трудно рассказывать о древнем Киото, как он ни прекрасен.

М. Я помогу. Тысячу лет Киото был резиденцией японских императоров. Загнутые черепичные крыши маленьких домиков в зелени. Старинные храмы и пагоды, где толпятся паломники вперемежку с туристами. В дивном парке — деревянные, темные от времени, золотом отделанные, со мхом на крыше здания императорского дворца. Под горбатым мостиком шепчет вода. Я поднял у края дорожки розовый цветок — камелию. В одном из аристократических дворцов под ногами будто птица поет — скрипит пол: сделано нарочно, чтобы не подкралась. Город до сих пор знаменит художественными ремеслами: в лавочках — фарфор, шелка, лак, бронза, вышивки, куклы. Каждый уголок вошел в классическую литературу. Нас водил по городу писатель Накагава и, зачарованный, объяснял примерно так:

— А вот это тот самый сад, о котором, как вы знаете, сказано: «О, сад!»

При всем том много вполне современных кварталов, много первоклассных автоматизированных заводов. Я бы сказал, что в каком-то отношении Киото напоминает Ленинград. Не внешним обликом, конечно, а сочетанием успокоенной классики с техникой сегодняшнего дня.

**Город
Киото**



К. Я была в деревянном храме Хигаси Хонгандзи с искусной резьбой. Дерево для этого храма когда-то давно было с гор доставлено японками. Они волокли тяжелые бревна на веревках, сплетенных из собственных волос. Поднимали балки на крышу.

Говорят, канаты и сейчас сохранились. В красивые черные пряди вкраплены седые нити.

В киотоском Национальном музее лежит маленький кинжал. Таким самураи убивали себя, если у них не было сил победить. Заколотся, чтобы досадить и отомстить другим, уйти из жизни при неудаче, смертельным ударом в собственный живот смьть позор или доказать преданность считалось честью. Когда в 1912 году умер император Мэйдзи, генерал Ноги, победитель Порт-Артура, совершил «самоубийство вслед» — сделал себе харакири. Вместе с ним убила себя и жена.

М. Я разговаривал о харакири с передовыми японцами. Они не отрицают влияния буддизма с его культом небытия, но главным считают то, что при феодальных строгостях у самоубийц не было иного выхода. Умирать им не очень-то хотелось.

К. Для меня сейчас важно другое: при оскорблении, обиде или утрате женщина поступала так же, как мужчина. В праве на смерть она добилась равноправия. А в праве на жизнь?

М. Мне кажется, как японка ни была покорна, мечты о праве на жизнь она никогда не теряла. В женственной японке давно таится мужество.

Ицуэ Такамура написала книгу, где доказывает, что в Японии существовал матриархат — это для многих неожиданно. А знаменитые женщины-писательницы средневеко-



Харакири

вой Японии, начиная с Мурасаки Сикибу! А Фукуда Тиё, жена бедняка,— она потеряла мужа, потеряла маленького сына, ушла в монахини, но продолжала писать стихи:

Больше некому стало
Делать дырки в бумаге окон.
Но как холодно в доме!

А девятнадцатилетняя женщина, которая в начале нашего века возглавила большую забастовку мужчин-горняков на медных рудниках в Асио! А смелая поэтесса Ёсано Акико, которая во времена русско-японской войны не побоялась обвинения в измене и написала стихотворение «Не отдавай, любимый, жизнь свою!», в котором есть строка:

...И что тебе твердыня Порт-Артура!

Нет, я уверен, что мы еще увидим японскую женщину в полном проявлении ее скрытых сил.

К. Это дело будущего...

После разговоров с Тиёко я думала обо всем этом, думала с болью — и весь Киото мне представлялся женским. Японки шли по улицам. Шли в обычной европейской одежде, в зимних спортивных костюмах, в кимоно...

М. Слишком часто мелькает кимоно в твоём рассказе. Кимоно — вещь дорогая. Его носят, но главным образом по праздникам.

К. Была новогодняя неделя!

В магазинах Киото — всё для самых различных женских вкусов. Целые этажи сугубо японских товаров: веера, зонты, оби, сандалии, шелк для кимоно, парики, гребни для



причесок. В других отделах синтетический мех под леопарда, киотоский шелк с современным рисунком, модный искусственный жемчуг, туфли с обрубленным носком на каблучках-иглолочках... Но внимание мое привлекали не столько эти женские товары, не столько этот материальный разнообразный женский мир, сколько женщины, которые, казалось, были к нему прикованы цепями: у каждого эскалатора очень красивые девушки стоят и кланяются. Стоят и кланяются. Благодарят вас за посещение магазина. Тонким звенящим голоском перечисляют товары на этаже — будто твердят молитву.

Больно смотреть, как их жизнь уходит. Они тупеют на этой монотонной, механической, безличной работе. Боюсь, что их душа пуста. О чем они думают? И думают ли?



М. Не сомневайся — думают. Хотя бы о том, что они вот прикованы к товарам, а кто-то эти товары покупает. Хотя бы о том, что их, живую рекламу, вот-вот заменят автоматами... Ты уже раз ошиблась с оценкой внутреннего женского мира. Вспомни токийскую девушку Марико — прислужницу в ресторане и в то же время студентку-биолога. Скажи, кто тогда принял ее за пустую куколку?

К. Ошибка простительная.

М. Я и не осуждаю. Сам ошибался. В первый же день в Токио мои прежние представления о японском женском ха-

рактере разошлись с действительностью. Я уже тебе рассказывал, что нас пригласили на вечер молодежного журнала. Сообщили, что за нами приедут в назначенный час. В гостиницу явилось прелестное юное существо, одетое очень скромно, но с удивительным вкусом. Девушка вынула из плетеной сумочки визитную карточку редактора журнала и как пароль подала Ирине Львовне.

Нам с Олесем Гончаром девушка так понравилась, что мы тотчас подарили ей самый заветный из привезенных сувениров — игрушечный фотоаппаратик. Запомнили имя и фамилию: Хироко Янага. Но дело не в этом. *Мы* были поражены одним фактом. Скажи, какое качество ты считаешь определяющим в японском характере?

К. Сдержанность...

М. Разумеется. В женском — особенно. Кого ни спрашивал, все так отвечают. И вот представь: не успела девушка захлопнуть свою сумочку, как объявила нам, что у нее есть жених, он работает электриком и они скоро поженятся!

Мог ли я встретить такую девичью откровенность в старой Японии?

А когда мы приехали и вошли с этой девушкой в зал, из толпы молодежи выскочил юноша с голубым платочком, повязанным вокруг плеча, и нежно ее обнял.

К. Очень мило. Но я возвращаюсь к растрате японскими женщинами сил и времени. На работе они теряют свое время и силы души по необходимости, но дома-то — по собственной воле! Я имею в виду бесконечные обряды. Хотя бы чайную церемонию.

М. Ну, чайная церемония — дело прошлое. Это реликт.

К. Нет, не реликт. Ты же сам говорил, что видел чайную церемонию посреди бела дня в столичном парке.



Характер
японской
девушки



Чайная
церемония

В Киото я была у Золотого павильона, теперь необитаемого, но бережно хранимого. Он легкий и прозрачный, отражается в неподвижной воде пруда. Здесь я узнала подробности об этом занятии японок. О занятии древнем, но дошедшем и до наших дней. Об искусстве поить чаем. В магазине и сейчас можно купить набор для чайной церемонии вместе с бамбуковым веничком, которым чай сбивают. Тиёко рассказывала, что прошла полный курс обучения этому эстетическому культу «Тя-но-ю», потратив уйму времени.

Чайную церемонию не нужно путать с обычным чаепитием. Здесь соблюдаются жесткие, вместе с тем утонченные правила. Чай берется только зеленый, в виде мелкого порошка. Заваривают его не в чайнике, а в особой чашке строгого стиля. Быстро мешают бамбуковым веничком, пока чай не вспенится. Подают его с церемониальным поклоном. Гостей, как объясняют европейцам, должно быть «больше, чем число граций, и меньше, чем число муз». Самый почтенный гость получает чай первым. Выпивает его медленно. Затем пьют все. Вкушают, отдыхают, сосредоточившись только на наслаждении чаем.

М. А как Тиёко к этому относится?

К. Представь, она считает чайный ритуал исключительно полезным, потому что он дает отдых, способствует душевному спокойствию. Это, по ее словам, «религия искусства жить». Наступает покой, если научиться, как она сказала, «думать, что не надо думать», то есть хотя бы на время выключиться из забот и не думать ни о чем.

М. А! Теория западных психиатров о «расслаблении». Из арсенала буддизма...

К. Тиёко была служанкой в богатой семье и там обучилась

всем премудростям этого занятия. Она попала к одной госпоже...

М. Ты все время думаешь о жизни своей японской подруги и сбиваешься с темы. Подожди. Пока я вижу, что чайная церемония или ушла в прошлое, или превратилась в что-то дающее отдых — вроде пасьянса.



К. Есть еще одно женское занятие с большой растратой сил и времени. Вспоминаю букет цветов, купленный как раз в тот момент, когда мы вышли из парка, где стоит Золотой павильон. У выхода мы встретили группу крестьянок в коротких вязаных кофтах с разрезами на боках, в грубых чулках и в накрахмаленных белых платочках с цветным рисунком. О бедности говорили только вылинявшие от стирки ситцевые пояса.

Румяные от ветра, немного скуластые лица. Застенчивые, просящие улыбки. Нам предлагают купить рыбу в маленьких корзиночках и продают также букетики цветов.

Это голубые маленькие хризантемы вместе с веточкой багряного мелкого клена в глиняном плоском кувшинчике. Так красиво, что нельзя удержаться.

Одни приехали откуда-то из неизвестных мне окрестностей озера Бива, другие—из деревни Ясэ. Название Ясэ мне было знакомо. Как раз там выросла моя Тиёко. Там ее баб-

Букеты
цветов

ка, придворная кормилица, обучала свою внучку искусству букетов...

Я расскажу сейчас об этом чисто женском, уникально японском деле.

В Японии существует более двух тысяч школ, где учат девочек и девушек составлению букетов. Настоящий японский букет — это целая наука.

Цветок умело срезается, потом его нежно сгибают и бережно укрепляют на подставке с шипиками. Подставку осторожно кладут на дно вазы. Каждому цветку отводят свое место, каждый листик и стебелек выставляют со смыслом. Форма вазы и ее цвет определяются не только букетом, но и сезоном и поводом, ради которого букет делается.

Для хризантемы не подходят высокие вазы. Вместе с листьями и травками эти цветы ставят в вазы мелкие и плоские, чтобы была видна поверхность воды.

Для яркой вазы идут цветы мягких, светлых тонов. Наоборот, ваза с неровной поверхностью, блеклая или темная требует цветов крупных и очень ярких...

Я записала в блокнот со слов Тиёко следующее. Два направления в школах по составлению букетов: формально-символическое и естественное. Поклонники первого в каждый цветок вкладывают особое, глубокое значение. Любят, например, делать такой букет: «цветок — небо» высоко справа, «цветок — земля» низко слева, «цветок — человек» в середине. Он наклонен к земле, но смотрит вверх. Это букет для философских раздумий...

Более распространено второе направление. Здесь господствует естественность, близость к природе.

Цветы постоянно живут в доме, меняясь вместе с временем года, погодой, настроением. Букет ставится в ни-

ше — токонома — под единственной картиной — какемоно, нарисованной на бумаге или шелку и висящей в нише. Картина время от времени сменяет другую, и цветы должны каждый раз ей соответствовать. Если, например, на картине пейзаж с далекими горами и рекой или озером на переднем плане, то в букете должны быть водяные растения: лилии, лотос, тростник-

Маленький букетик из хризантем и клена, купленный мною у крестьянки в Киото, теперь совсем засох. Но я вижу, как он хорошо гармонировал тогда с увядшей природой, с выцветшим ситцем...

АЛ. И с грустной судьбой японки, продающей цветы ради хлеба. Видишь, как много субъективного в восприятии...

К. Да, это была бедная крестьянка. Узость ее жизни, убогость интересов вместе с тончайшей красотой букета снова привели меня к невеселым размышлениям.

Зачем так долго упражняться в искусстве букета или в искусстве чаепития? Не лучше ли овладеть ремеслом более нужным и для людей и для себя?

Я оценила красоту японских букетов и прелесть традиционного чаепития, но никак не могу смириться с тем, что они поглощают столько женской жизни.

М. Спрошу опять, как сама Тиёко относится к букетам?

Чайную церемонию она объясняет и пытается в какой-то мере оправдать. А букеты?

К. Тиёко считает, что соединение цветов и веточек в букет, размышления о том, как лучше поставить вазу, важны для человека — это облагораживает, вселяет покой, приучает к сосредоточенности на красивом, воспитывает вкус и даже делает человека добрее.





М. Самое важное в том, что Тиёко умеет делать не только букеты, но и еще многое более ценное. Разве ты не встречала других таких японок?

К. Встречала. С ними можно было поговорить о революции на Кубе, поспорить о физиологической теории Селье. Но таких мало.

М. Много, мало — это зависит от того, с каким масштабом подходишь. В Японии, которая еще сравнительно недавно была феодальной, должен быть свой масштаб. Представь себе: меньше ста лет назад японкам даже запрещали подниматься на священную гору Фудзи. Ответ — с какими женщинами ты встречалась в Киото?

К. Пойми, я была бы рада пойти тебе навстречу. Но мне не удается. Не хватает примеров.

М. Ну конкретно — с какими женщинами ты еще встречалась в Киото?

К. Есть пример, торжествуй: познакомилась с двумя очень передовыми девушками на выставке французского прикладного искусства. Специалисты по рисунку на шелковых тканях, они со знанием дела рассматривали декоративные полотна. То критиковали уродливо перекошенные мрачные линии, то радовались чему-то и чем-то любовались. Своим обликом и поведением девушки походили на студенток любого университета в мире.

Они, наверное, умели разрисовывать тонкий шелк и, ко-

Художницы

нечно, понимали толк в том, что на свете красиво и что безобразно. Я видела: им понравились яркие сплетения голубых, черных, синих, зеленых, фиолетовых, красных линий современного французского художника Атлана.

М. Недавно умер.

К. Все равно он современный. Девушки облюбовали также кувшин Пикассо, чем-то похожий на настоящего японского олененка. Поделились с нами:

— Хорошо для детской ткани.

На другом этаже этого же здания была выставка Марке. Там я их снова встретила. Они стояли у одной из картин: синяя гладь воды, причал, веселая толпа ждет парохода. Я спросила их уже как знакомых — нравится ли? Обрадовались:

— Много воздуха, перспектива, веселое настроение.

Вот у них, может быть, все сочетается правильно. Но таких я видела все-таки мало.

Зато были другие. У входа в императорский дворец нам встретилась бритоголовая очень молодая, красивая монахиня. Таких я потом встречала в городе Нара около храмов. Тут уже наверное можно сказать, чем заняты ее мысли...



М. Я не говорю, что все женщины Японии ушли вперед и темных не осталось. Видел я и монахинь. На холме над городом Кумамото стоит буддийская ступа — как белый

купол, положенный на землю. Внутри скрыты священные кости. Тлеют зеленые палочки — источают благовоние. Недалеко — храм. Оттуда доносятся удары гонга. Мы тихо вошли — пустота, ни души, только одна молодая женщина, тоже бритая, сидит на коленях, смотрит в толстый молитвенник, тихо поет и размеренно ударяет двумя изогнутыми палками в огромный гудящий диск. Впрочем, и на эту жизнь влияет. На моих глазах в городе Кагосима монахины бродили по универсальному магазину, в лифте поднялись на верхний этаж, где ресторан...

К. Если это и путь к свободе, то он очень уродлив!

М. Женщина с трудом вырывается из мрака и иной раз, возможно, делает лишние шаги. Она всеми мерами стремится утвердить в себе и в других представление, что уже вырвалась, сравнялась с мужчиной. Одна дама, глава литературно-художественной редакции в токийском издательстве, пригласила меня в ресторан отеля «Нью Джапэн» на ужин вместе с писателем Хироси Нома. Это была умная, образованная, доброжелательная женщина, но она встретила меня в европейском мужском костюме, в наглаженной черной тройке, с мужским галстуком под белым воротничком сорочки. Острижена с бачками. Ведь ей приходится руководить мужчинами.

К. Какая странная эмансипация!

М. Но лучше уж так... В этом споре с тобой я не говорю, что все женщины Японии полностью просветились. Я хочу только сказать, что они с отчаянным трудом преодолевают препятствия, и это их тяжелое усилие как нельзя лучше характеризует современную Японию.

Где-то я слышал поговорку: «В Японии стали крепче носки и женщины».



К. Поговорим о тех, которые, как ты сказал, «просветились». Одни восприняли культуру глубоко и по существу, а многие — только внешне. Ты прекрасно знаешь, что сугубо современное поведение и облик могут скрывать реакционную сущность или просто пустоту. Возьми японские стрипы. На Западе считают, что стрип — это нормально, современно, на уровне века... Ты в стрипах был?

М. Был.

К. Надо о них рассказать. Если всерьез обсуждать положение женщины, обойти стрипы нельзя.

М. Я уже говорил, что профессор Курода показывал мне Токио. На это ушло несколько вечеров. Мы с ним ходили пешком, ездили на метро и на такси. Были в университете и в универмагах, на молодежном хоре и в народном эстрадном театре, в национальном ресторанчике и в космополитическом кафе. В увеселительном районе Асакуса, в темноте, к нам подошел таинственный человек и что-то прошептал на ухо. Курода мне сказал:

— Приглашает в частный дом на зрелище, которое запрещено законом. Туда мы не пойдем.

— А что закон разрешает? — спросил я.

— Стрип, например.

— Ну, стрип и посмотрим.

Мы подошли к зданию, имеющему вид театра. Заведение называлось «Франс-са», — возможно, это была ссылка

на Париж. У ярко освещенного входа висели цветные фотографии женщин. Поднялись по лестнице к кассе. Представление, которое занимает два часа, уже шло, поэтому нам продали билеты со скидкой.

Я обратил внимание на кассира и контролера: молоденькие, вполне пристойные, скромного вида девушки. Вид у них был спесивый, совершенно безразличный — они служили. Одна из них читала книжку.

Вошли в зал полутемный, но сцена была освещена. Спереди в ряды кресел на уровне сцены полуостровом вдавалась длинная площадка — этот вертеп повторял «дорогу цветов» возвышенного Кабуки!

На сцене кривлялся тип в очках. Крича и размахивая руками, он собирал какие-то записки. Я понял, что это за-явки.

Выбежала девушка, скрывая свою голизну раскрытым листом газеты. Под музыку и под гогот зала она стала отрывать от газеты кусочки один за другим. На мгновение раньше, чем упасть последнему клочку, свет погас.

Куроода мне пояснил, что таким образом театр «Франса» остался в рамках закона, оберегающего нравственность.

Стрипов несколько в каждом сколько-нибудь крупном городе Японии.

К. Как странно, что это случилось и с японкой тоже... Я ехала в Японию с представлением о ее женщине как о существе скромном, стыдливом, целомудренном. Эти качества воспитывались веками, и нельзя себе было даже представить, например, японку с европейским декольте, с голыми руками или с неприкрытыми коленками.

Вместе с тем ханжества, ложной стыдливости японка не знала. Она спокойно обнажалась перед врачом, мылась в

общей купальне или в бочке прямо на деревенском дворе. В дождь смело подворачивала кимоно, одетое в жару на голое тело. Все это вызывалось необходимостью, и нездорового любопытства не было. Женская стыдливость не мешала проявлению разума.

Трудно вместить, но это так: широчайшее, государственное распространение проституции сочеталось с целомудрием.

М. Мне известно, что именно женщины и добились недавнего закона о запрете проституции.

К. Но прочный ли закон-то?

М. Кажется, довольно шаткий. Нет домов терпимости, которые раньше занимали в городах целые кварталы, но тайных домов свиданий сколько угодно. Закон обходят и того гляди отменяют. Реакционные силы уже начали кампанию.

О запрете проституции и аборт для незамужних нам рассказывал милейший Ютака Мива, когда мы с ним около Симоносеки мчались в автомобиле по шоссе. Я задал вопрос:

— А запрет соблюдается?

Японец, смеясь, ответил:

— Видите: дорогу посередине делит белая черта. Мы должны держаться слева, только слева. Но я спрошу вас: когда встречных не было, сколько раз мы правило нарушили?



О проституции в Японии

К. Вот так все нарушается и разрушается — хорошие законы и чистота женского характера. Могла ли я думать, что в Киото, в священном древнем городе, гостям предложат посмотреть американские шоу с раздеванием. Женщина красива, но вызывает жалость: застывшая улыбка, привычные, натренированные движения перед толпой мужчин, какая-то приниженная торопливость... Япония, видно, стремится во всем совершенстве овладеть техникой стрипа, обучаясь на западных образцах.

М. При мне в Токио газеты прославляли какую-то звезду стрипа, прибывшую на гастроли из Австралии. Интервьюировали ее с почтением. Заморская бесстыдница с нотой превосходства заявила, что японские артистки, ее коллеги, весьма привлекательны, но слишком быстро раздеваются. К. Может быть, от стыда и от желания поскорее отделаться? М. Не знаю. С артистками стрипа говорить не случалось. Приходится ли им преодолевать чувство стыда, зреет ли в них зерно протеста — мне неизвестно. Но я слышал, что юная актриса Каёко Хоноо заявила, что если бы ей удалось найти работу получше, то она отказалась бы от кино, потому что ее заставляют вести себя непристойно перед аппаратом.

А за душевной жизнью гейш имел случай наблюдать сам. Сейчас расскажу, это любопытно. И для нашего спора важно.

Гейши в Японии существуют и сегодня — может показаться, что это вода на твою мельницу... Но какие они стали, что у них на уме — этого ты не знаешь. Конечно, многого я разведать не мог, но и то, что удалось узнать, — аргумент за меня.

Впервые гейш я встретил как раз в Киото. В крытой ко-



лясочке рикша вез разодетую, набеленную женщину с высокой прической. Вообще-то рикши в Японии перевелись, служат только для гейш.

Предприниматель устраивает из гейш что-то вроде артели. Обычно туда отдают девушек из бедных семей. Хозяин их кормит, одевает, учит танцам, пению, игре на сямисэне. Мужские компании приглашают гейш в ресторан по двое, по трое,— если приглашена одна, то в этом смысл особый. Гейши развлекают гостей разговором, прислуживают им за столом, поют и играют. Зарабатывают они с вызова — много, конечно, попадает в руки хозяина. Те гейши, которым повезло, со временем выходят замуж. Рассказывая об этих порядках, японцы, я заметил, всегда добавляют: «Не все гейши порочны».

В Токио друзья пригласили меня в японский ресторанчик на Симбаси. Присутствовали три гейши. Сначала они и пели и танцевали на фоне золотой ширмы, но, почувствовав, видно, что гостю хочется поговорить, сели с нами на пол за низкий стол.

Я узнал, что в районе Симбаси имеется пятьсот гейш, в том числе одна 73 лет.

К. Вот бы тебе собеседница!

М. Не смейся. Был серьезный, как у нас называют, «мужской» разговор обо всем — о судьбе гейш, о буме и нищете, об упадке великого японского искусства, об атомных бомбах... Просили меня объяснить, что означает русская песня «На сопках Маньчжурии». Сказал: матери плакали о своих сыновьях на войне. Ответили: у нас есть такая же. И все — мужчины и женщины — тихо запели хором.

Одна из гейш, Косаё, красивая и образованная женщина, сказала:

— Я люблю свою профессию, но чувствую, что ее ждет кризис. Богатые японцы стараются во всем подражать американцам, американцы же — семьянины, в ресторан или на банкет ходят с женами.



К. В этом следовало бы у американцев поучиться.

М. Косаё сделала такой вывод:

— Если японцы перестанут оставлять своих жен дома, нам придется перестраиваться. Наверно, функции обслуживания отпадут, останется только эстрада.

К. Таким образом, традиционный институт гейш пока еще сохраняется.

М. Но уже разрушается. Одна из форм сохранения и в то же время распада этого института — превращение гейш японских ресторанов в тех девушек, которые обслуживают посетителей ресторанов европейского стиля. Говорят, их в кабре и барах Токио более восьми тысяч.

Будущее у них еще более плачевно, чем у гейш. Работа заключается в подливании вина в рюмки и шутовом разговоре. Ни петь, ни танцевать они не обучены и держатся на работе только за счет своей миловидности и молодости. Утратив молодость, они теряют заработок.

Часто за эту вечернюю выматывающую работу берутся студентки, у которых нет других средств существования.

Один раз поэт Сибуя, его знакомый Такэда и управляющий делами Ассоциации писателей Сакаи повезли меня посмотреть типичный токийский ночной клуб. Он назывался «New Latin Quarter».

К. Значит, одним махом убивают двух зайцев: Латинский квартал есть в Париже и ночной клуб «Латинский квартал» есть в Нью-Йорке.

М. В богато и пышно обставленном полутемном подвале под невыносимо громкий джаз на эстраде долго щелкали подметками какие-то европейские чечеточники. Потом в платьях из стекляруса пели две девушки — тоже «западные».

Других номеров мы не дождались. Но у меня успел состояться разговор с одной из девушек, которые, когда мы появились, немедленно сели за наш столик.

Сначала я не знал, как себя вести, и молчал. Такэда это заметил и облегчил мое положение:

— Можно не обращать внимания.

Когда обязательность спала с моих плеч, я легко разговорился со своей соседкой. Говорили по-английски. Я узнал, что девушка обязана увеселять гостей. Она непрерывно находится под наблюдением администрации: если видно, что гостям не весело, заработок снижается. Если администрация считает, что гости довольны, — заработок неплохой. Почувствовав, что разговор у нас идет откровенный, я спросил:

— А что вы делаете кроме вот этого сидения за столиком?

К. Наверно, такого глупого вопроса девушке еще никто не задавал!

М. Никто, наверно, и не получал такого честного ответа:



— Мне стыдно.

Второй разговор с подобной девушкой состоялся у меня в баре «Хрустальный дворец» около Гиндзы, куда мы с Курода и Сибуя однажды зашли отдохнуть после долгих блужданий по токийским улицам. Это совсем маленький бар: три-четыре столика без эстрады и музыки. Люди пили виски со льдом. На стенах висели картины — владелица бара была художницей.

Сначала вместе с нею обсуждали, как это удалось черной тушью передать пушистость белого снега на склонах Фудзи. Потом художница занялась каким-то другим делом, а за столом у нас осталась красивая девушка в темной юбке и белой кофточке, ее звали Томоко Саито. Я с нею разговаривал, а Курода переводил.

Томоко сказала мне, что изнывает здесь все вечера и ночи. Имеет дело с людьми грубыми и лживыми. «Приходится жить двойной жизнью». Ее любимые композиторы — Чайковский, Моцарт, Равель, Дебюсси, но самый любимый — Мендельсон. У нее две мечты: первая — встретить, как она сказала, «настоящего человека, без влияний»; вторая мечта — повидать другие страны, чтобы убедиться, что лучшая страна из всех — ее Япония...



А потом произошло то, что много раз описывалось, вошло в литературу с «Бронепоездом» Иванова и «Сами» Ти-

**Горе и
надежда
Томоко
Саито**

хонова, стало типическим художественным образом — и было бы в моем изложении не новым, если бы не было документальным: свидетели — профессор Курода и писатель Сибуя. Томоко вдруг проговорила:

— Ленин. Я ему верю.

После американского солдата, после индийского мальчика это сказала несчастная японская девушка 27 апреля 1961 года в «Хрустальном дворце».

К. Господи, только бы она не погибла!



М. Ведь твоя Тиёко не погибла, добилась самостоятельности.

К. Да, но какой ценой?

М. Как бы там ни было — Тиёко, по-видимому, активный, современный человек.

К. Это верно. Медик с широким кругозором. Окулист, думающий не только о лечении глаз, но и об устройстве слепых... Она совершенствует методы лечения туберкулеза глаз у детей и, кроме того, через общество «Свет для слепых» помогает открывать специальные школы. Часто ездит за границу. Недавно читала лекции для индийских врачей. Всегда занята и полна общественных забот. К нашей стране у нее особый интерес. К нашей медицине — уважение.

М. Вот видишь. Разве это вчерашний день Японии? А ведь во внешнем ее облике да, наверно, и в поведении что-то сохранилось от старого, и это может сбивать с толку. Как она выглядит?

К. Маленькая, сухонькая. Застенчиво улыбается. Лицо слегка желтоватое, с морщинками. Косметики не заметно. Черные глаза, как под лупой, сильно увеличены дальнозоркими очками. Много черных с проседью волос. Они туго забраны сзади. Чаще всего видела ее в черных, серых элегантных костюмах, но в праздник она была в кимоно. Скромная, тихая.

Она неверующая, но в доме у нее есть маленький алтарь — камидана. В праздничные дни кладет приношения богам, как делали ее предки.

У Тиёко есть и амулет, как у многих японцев: крохотная дощечка с печатью храма, чтимого ее семьей. Она улыбается, прекрасно понимая ложность положения: окулист носит амулет «для сохранения глаз».

Рассказывая свою историю, полную горя, она часто вспоминала:

— Мать всегда говорила: будешь несчастна, потому что родилась в несчастливый год — под знаком лошади.

М. Скромная, тихая, не лишена нелепых предрассудков — а достигла своей цели.

К. Но с какой затратой сил! Днем училась на медицинском факультете, а вечером и ночью дежурила у больного склеротического, капризного господина. Высыпаясь днем, он бодрствовал ночью. За хлеб и угол была сиделкой, служанкой, прачкой, чтицей. Многие годы проходили почти без сна. Готовилась к экзаменам только в те часы, когда старик на короткое время засыпал и не требовал беседы.

Жизнь была невыносимой, каторжной, но Тиёко все время боялась, что хозяин умрет, — она потеряет и эту работу.

М. Чем ты больше сгущаешь краски, описывая путь япон-



ской женщины, тем все более убеждаешь меня в том, что я прав. В борьбе женщин видна новая Япония. Вопреки всем трудностям, Тиёко кончила медицинский факультет. А поступить туда было, наверно, еще труднее, чем его закончить.

К. Да, еще труднее. Перед поступлением в университет долго жила служанкой в богатом доме. Ей повезло: госпожа была доброй, образованной, жалела Тиёко, относилась к ней почти как к подруге. Тиёко гуляла с детьми — сыном и дочерью госпожи, а кроме того, усердно занималась с помощью самой хозяйки. Ученица оказалась аккуратной, способной, усидчивой, упрямо-настойчивой.

Тиёко училась в доме всему — и писать без ошибок, и одеваться со вкусом. Изучала «этикет вежливости» и «правила морали». Она проходила науки, перегоняя детей, за которыми ухаживала.

Но повезло ненадолго. Муж госпожи — коммерсант — стал редко бывать дома. Все куда-то уезжал. Потом явился с любовницей. Поселил ее здесь же, в доме, где жили жена и двое детей. Вот какой ужас возможен — и почти в наше время.

Никто не порицал негодяя, никто не возмущался — так было принято. Тиёко стали заставлять прислуживать любовнице. Госпожа плакала. А потом случилась катастрофа, как в роковых романах: оскорбленная жена убила себя кинжалом. Тиёко тотчас выгнали из дому. Зброшенные дети к ней потом прибежали. Слез было много.

В Ясэ к матери Тиёко не вернулась. Стала работать в парикмахерской, сначала чем-то вроде служанки, потом помощницей хозяина-парикмахера. Получала гроши, чуть не половину отдавала за право ночевать в кресле для бритья

и стрижки. Когда парикмахерская запиралась, читала и самостоятельно училась. Так жила — без угла, без помощи, в унижении.

Однажды в поисках нового места зашла в школу Красного Креста. Там удивились ее начитанности и воспитанности. Взяли сначала, как у нас говорят, условно, а потом зачислили и полюбили.

Вскоре стала работать медицинской сестрой в больнице. С этого времени решила быть врачом. Жила, почти сорокалетняя, в общей комнате с молодыми девушками, которые учились в той же школе. Чувствовала себя очень одинокой и несчастной. Прошли годы, и она попала на медицинский факультет.



М. Страшные мытарства — и все-таки вырвалась. А до этого, наверно, хватила горя и дома, до работы у людей, в своей семье?

К. Да, и тогда ей досталось. Я уже говорила: она выросла в деревне около Киото. Там жили потомственные кормилицы для именитых японских домов. Крепкие, красивые женщины. Тиёко с детства слышала — ей прочили ту же профессию. Бабка — прославленная кормилица в семьях придворных вельмож — обещала Тиёко блестящую карьеру.

Девочку просватали, кажется, в двенадцать лет за чело века много старше ее, для нее неизвестного. В шестнадцать лет она уже была замужем.

Исходили из принципа: «Женитьба — начало любви». Наверно, профессору Курода тоже хорошо известен этот принцип — в своей книжке об СССР он удивляется: «Там любовь идет плавно к женитьбе».

Тиёко рассказывала мне, как ей подарили тогда статуэтку — трех обезьянок. У одной закрыты глаза — «мидзару». У другой закрыты уши — «кикадзару». У третьей зажат рот — «ивадзару». Символ смирения: не ревнуй, ничего не замечай, не перечь.

М. И, наверное, учили петь традиционную песенку:

Одна, одна во всем
Я, милый, виновата...

К. Муж оказался пьяницей, деспотом. Свекровь — сварливой. Непосильная физическая работа, побои, ругань — Тиёко стала болезненной, хилой. И когда родила, то из-за малокровия не могла кормить даже собственного ребенка. Он умер. Родня была разочарована, все отвернулись. Потом развелась. И вот тогда-то бабка помогла устроить ее служанкой в Киото к той доброй госпоже с трагической судьбой.

Сама Тиёко, раздавленная горем после смерти ребенка, полуграмотная, больная, думала, что жизнь кончена и впереди ничего нет... Как только она все это преодолела!



М. Не хочешь ли ты сказать, что жизнь Тиёко необыкновенна? Что не все могут так вырваться? Что это исключение? Конечно, побеждают сильные духом. Но таких немало.

К. Сомневаюсь, что немало. Я знаю похожие истории некоторых японских писательниц — Фумико Хаяси, например. Она была прислужгой, официанткой, продавщицей, а потом стала талантливой писательницей. Или Утако Ямада. Болея туберкулезом, нуждалась — и написала оптимистический роман «Жить!». Но все это единицы.

М. Ты себе противоречишь. Мы с тобой не так уж хорошо знаем Японию, а сколько у нас набирается примеров.

Вот послушай еще.

Приехали мы в шахтерский город Омута. Там, в революционной среде рабочих, существует «Общество домохозяек». Оно сильно помогало в дни боевых забастовок — не только перевязками и питанием, «пирожками содействия», но и стихами.

— О чем стихи? — спросили мы.

— О любви к мужьям и о ненависти к врагу.

Стихи эти после вышли отдельным сборником.

На встрече с шахтерами и их женами все восхищались смелостью Гагарина — о его полете в космос узнали накануне.

Ирина Львовна спросила:

— А вы, в Японии, тоже, конечно, полетели бы так смело?

Поднялась Сумико Мори, жена шахтера, мать троих детей, руководительница домашних хозяек, и ответила за всех:

— Ради войны — нет, ради мира — да!

В соседнем городе Фукуока я познакомился с очень молчаливой, тихой, застенчивой женщиной Харуко Усидзима. В разговоре выяснилось, что она издает и редактирует прогрессивный журнал. Смущаясь, сказала:

— У меня четверо детей, и я не могу отдавать журналу все свои силы. Наверно, советские женщины осудили бы меня...

Ученая женщина, большой специалист в медицинской географии Масако Момияма взяла на себя труд принести в отель, где я жил, подарки советским географам — в знак уважения к нашей стране.

Попал я в один провинциальный городок. Это было в префектуре Сайтама. Члены муниципалитета, не выдавшие до того ни одного советского человека, пожелали встретиться. Я отвечал на их жадные вопросы — такие, например:

— Правда ли, что в СССР не надо собирать частные пожертвования, чтобы построить школу?

Подошла женщина, назвалась Фумико Усикубо и сказала:

— Благодарю. Тут, в нашем городке, был военный завод. Мы вели долгую борьбу, чтобы его перевели на мирное производство. Вот моя книга «Разговор видевших фабричные трубы». Прошу принять ее. В ней написано, как мы добились победы.

Еще я хочу рассказать тебе о девушках-работницах с текстильной фабрики в Осака. Они составили волейбольную команду, а волейбол для Японии спорт сравнительно новый. Когда в Японии играли наши волейболистки, японки самым тщательным образом изучали их приемы. Снимали на киноплёнку, все записывали, во все вникали. Буквально

мучили себя тренировками — они отвергают покой перед матчем. Упражняются почти непрерывно... И вот японские игроки в волейбол приехали в Москву. Мужская команда проиграла нашей, а упрямые девушки из Осака победили своих учителей.

К. А говорил ты с японскими писательницами?

М. К сожалению, мало. Надеялся поговорить с Инэко Сата на встрече с прогрессивными писателями в Токио...

К. Ее роман «Пока не угаснет пламя» — страница собственной жизни. Я читала. Труд с раннего утра до поздней ночи. Голод. Пьяный отец. Несправедливости фабричной жизни. Повторяется судьба Тиёко.

М. Сата пришла, чтобы извиниться:

— Спешу на процесс Мацукава — защищать рабочих, которых невинно осудили.

Крушение поезда у станции Мацукава приписали коммунистам.

Двенадцать лет длился судебный процесс. Все прогрессивные организации участвовали в борьбе.

Среди прогрессивных сил Японии много женщин. Незадолго до нашего приезда был в Токио большой женский митинг против роста цен — его организовали домохозяйки. А вскоре после отъезда, я слышал, собиралась конференция матерей, очень активная.

Несколько лет назад убили председателя социалистической партии Инэдзиро Асанума. Социалистическая партия по численности самая крупная из оппозиционных партий Японии.

Так вот — вдова убитого проявила себя героически: выставила свою кандидатуру в парламент. Была избрана и повела там смелую борьбу.

К. Мне известно, что в Японии с 1946 года женщины участвуют в выборах. Но разве на деле это участие женщин соответствует их числу и значению в жизни? Все-таки освобождение в большой мере формальное... Обидно за японку.

М. Острее, болезненнее, чем я, чувствуешь ее несчастья — вот отсюда наш спор.

К. Согласна, что японская женщина развивается, но повторяю — с каким опозданием достигает она цели!

М. Ведь человеку нужно время, чтобы высвободиться из тисков. Этого ты не учитываешь. Нельзя к японкам подходить с нашей меркой. Сейчас я тебе это докажу. В каком возрасте Тиёко поступила на медицинский факультет?

К. Ей было больше сорока.

М. А тебе?

К. Восемнадцать.

М. Хорошо. Тебе надо было читать по ночам газету старику?

К. Нет, у меня была стипендия.

М. До этого ты мыкалась по людям?

К. Жила в семье, отец все время работал.

М. Готовилась в вуз за свой страх и риск, урывками?

К. Нет, училась в школе.

М. После вуза жизнь тебе мешала?

К. Нет, почему же. Конечно, у каждого свои трудности. Но меня приняли в научный институт.

М. Тебя выдали замуж насильно?

К. Как ты думаешь?

М. А вот тебе Япония. В городе Кумамото — в том, где монахиня была в гонг, — мы были в гостях у руководителя профсоюза, социалиста. Хорошая семья, общественные ин-



тересы, разгар стачки, воспоминания о поездке в СССР...
Когда хозяин вышел, другой гость, местный, пояснил:

— Они женились по любви.

Если возникло побуждение об этом сказать, значит, для японцев это дело не такое простое.

К. Совсем не простое. Профессор Курода обращает внимание: в СССР выходят замуж по свободному выбору. Равноправие в жизни он объясняет равноправием в заработках. Пишет не без доли изумления: по материальным причинам свадьбу не откладывают...

М. Еще пример. Когда я улетал из Японии, меня провожали писатели. Радио уже пригласило в самолет. И вдруг в решающий момент расставания друг мой Тэйскэ Сибуя спрашивает:

— Не удивляйтесь, Михайлов-сан, последнему вопросу. Вы вступили в брак по обоюдной воле или вас заставили?

Если в Японии такой вопрос задают мужчине, то что же говорить о женщине?

К. Вот и значит, что японская женщина еще не свободна.

М. Наоборот, в этих условиях нужно удивляться, как далеко прошла она по пути освобождения.





МОЛОДЕЖЬ
И
БУДУЩЕЕ



... НАРА ...



К. Из Киото мы поехали в город Нара...

М. Там я не был, мне очень досадно. Все ведь знаю, знаю с детства! Древняя столица Японии, более древняя, чем Киото, заповедник японского искусства, город-музей с красотой, застывшей в монастырях и храмах, в деревьях парка, в бронзовом Будде... В Киото был, а на этот город времени не хватило, и мечта его увидеть погибла в двух шагах от цели.

К. Разве тебя не утешает, что Нара все-таки от нас не ускользнула? Я же ее увидела.

М. Этим себя и успокаивал. Поспешил в другое место. Мне казалось, что от разного видения наша книга только выиграет. Тебе — Нара и романтические пагоды, мне — Токио и скучные билдинги. Такая уж судьба. Признаться, я

бы мог все преодолеть и хоть на час заехать, но подумал: ладно, пожертвую собой ради сюжета. Ну, молчу. Рассказывай.

К. Нара — в пятидесяти километрах южнее Киото. За окном автомобиля мчался знакомый японский пейзаж: возделанные поля на осенне-зимних склонах, мостики, строения с загнутыми крышами. По дороге разглядывала проспект с приглашением остановиться в отеле «Нара». На нас смотрел с ярких страниц тот самый, живший в твоих мечтах, «Большой Будда». Он протягивал милостиво руку и как бы взывал: «Бездельники, сюда! Отель что надо!»

М. Ты добрая. Хочешь иронией утешить мою душу, облегчить утрату.

К. Приложен тариф: обед 800—1000 иен, острые японские блюда. Апартаменты для семьи — до 8000 иен в день. А 8000 иен — это месячный заработок многих рабочих женщин.

Предлагается не только осмотреть знаменитый парк с гигантскими японскими кедром и дубами, со свободно бегающими оленями, но и поиграть в гольф. Для этого в древнем парке есть площадки. Функционирует «Международный клуб по гольфу».

Нара — любимое место американцев. Говорят, многие из них остаются здесь с зимних каникул до самого цветения вишен. Прожить зимний сезон в Нара или Никко считается модным. Для удобства построены католическая и епископальная церкви.

Я осматривала храмы и старалась проникнуться благоговением к эпохе восьмого века. Японскими историками сказано, что культура той поры была ярчайшим проявлением национального гения.

Действительно, величественно! Вековые деревья и уникальные строения. Самые старые в мире деревянные храмы. Единственный в своем роде храм, где помещается Будда высотой в 16 метров. Статуя густо покрыта пылью — пыль еще ни разу не смахивали. Архитекторы всего мира поражаются чуду: грандиозный храм увенчан одной цельной деревянной крышей.

Я, кажется, понимала величие искусства эпохи Нара... Но у входа в диковинный храм продаются маленькие копии «Большого Будды», сделанные в виде свистка. Будда издает посвист, как воющая полицейская сирена в Нью-Йорке. Студенты закупили эти игрушки и свистят, надув щеки.

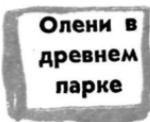
И еще... Я увидела стадо оленей и оленят. Так и захотелось, вспомнив Басё, их погладить:

В день рождения Будды
Он родился на свет,
Маленький олененок.

Но тут произошло неожиданное. Олени быстро ринулись нам навстречу. Это уже не были робкие и пугливые лесные лани. Требуя еды, они старались больно ударить.

Тут же рядом молодые торговцы продавали печенье. Его надо было покупать, чтобы успокоить животных.

Парней, продававших печенье, мы увидели за обедом в отеле. Потом они празднично слонялись по парку. У одного был транзистор. Он издавал кваканье, подходящее только для ночного бара. Парень слегка подпевал и приотпывал. Весь облик его был отвратителен ря-



дом с благородством природы и возвышенностью храмов. М. Ты, как всегда, склонна к крайностям. Хотела меня успокоить, а только больше расстроила. Это известно, что величие города Нара испорчено американизмом и бизнесом, жалкой уступкой вкусу туристов. Я видел в Токио американскую синерamu «Семь чудес света». Сделано с размахом — например, с птичьего полета показаны все евангельские места Палестины. Но самодовольство и ограниченность чудовищные. Изображается в красках, как американские солдаты в парке Нара среди весенних цветов катают в колясочках японских детей! Это даже не пошлость, а издевательство. Моего переводчика, юного Тадаюки, так и передергивало... В рекламном либретто, между прочим, показано, как эту унижительную картину смотрит японский император.

Но вот с твоим восприятием молодежи я не совсем согласен. Оно как будто бросает тень на молодежь Японии. Много таких, что поют под транзистор пошлые мотивчики. Но есть и другие. Наверно, ты не успела присмотреться.

К. Как раз тут, в этом древнем городе Нара, я провела много часов в разговоре с японским юношей. От открыл мне печальное, даже страшное.

Это студент Русского отделения Сатаро. На память от него получила веер. Нарисованы смешные японские человечки, и по-русски написан привет: «Русскому врачу Косенко».

С Сатаро я познакомилась еще в Осака. И еще там начался наш разговор — сначала об японской обрядности и ее тяготах. А потом мы как-то перешли к судьбе японской молодежи.



**Японские
обряды**

Нара от Осака близко — и Сатаро приехал сюда повидать нас. Мы снова вернулись к прежней теме. По древним храмам ходили толпы людей — старики, дети, молодежь. Справляли какие-то очередные обряды. Шли, как на маскараде, — в костюмах древности и в масках, пели старинные песни.

Я сказала Сатаро, что эти люди недостаточно серьезны для религиозного праздника. Они резвятся, играют, забавляются. Тот ответил:

— Забава несерьезная, но она держит людей клещами и отнимает время. Вы думаете, что всё от веры? Скорее оттого, что нет веры. Думают: в жизни мало интересного. Дай-ка займусь праздником! Все-таки веселее... Привыкли. И как заведенная машина — крутится, не остановишь. Поговорите с кем-нибудь из этих веселых ребят. Они сегодня с утра ничего не делали, уроков не готовили, зато матери сбились с ног: лепили шары, стирали рубашки, шили фестивальныи наряд. Как у вас в медицине: хроническая инфекция. Все идут, толкаются — пойду и я.

Мы увидели, как мать привела двух мальчиков к каменным божкам. Боги эти с детскими лицами, в юбочках из ткани. Дети принесли подарки. Внимательно и долго слушали мать.

— Чему она их учит?

Сатаро только рукой махнул. И с горечью показал на девушку с бритыми бровями, в красном подобии юбки, в белой мантии.

— Это мико, жрица в храме, «невеста Будды». Должна танцевать священные танцы. Наряд ее — признак непорочности. Смотрите, какие у девушки живые глаза. Но она, бедная, никогда не выйдет замуж.

Сатаро сказал, что 15 января тут будет особый праздник: съедутся со всей Японии тысячи людей, зажгут костры. Стал считать, сколько в году у японцев праздников, но сбился. Только в январе кроме новогодней недели — восемь. Самые праздничные месяцы — апрель и май.



М. Это удивительно, как трудолюбие японцев может сочетаться с любовью праздновать. Я попал на вспышку праздников. В конце апреля — начале мая неделю назвали «Золотой». В учреждениях Токио работа шла кое-как, почти остановилась. Праздники наезжали один на другой: день рождения императора, день введения конституции, день мальчиков плюс воскресенье. На ту же неделю выпал праздник Первого мая, но его официально не признают.

Сейчас правительство собирается ввести еще несколько праздников. В этом есть определенный замысел. Оживляют самурайские традиции.

К. В день мальчиков принято надевать на малышей военные доспехи. Кукол тоже рядят в мундиры.

М. Это тот самый случай, когда реакция обращает традиции себе на пользу. В день мальчиков в телевизоре я видел знаменитого актера театра Кабуки Энноскэ вместе с сыном. Традиция есть традиция: они — разумеется, без всякой своей злой воли — танцевали резкий, мужественный танец — военный.

Те семьи, где есть мальчики, еще задолго до праздника, до 5 мая, ставят во дворе высокий шест с длинными ярко-пестрыми надувными рыбами. Ветер их наполняет, и они красиво развеваются над крышей. Рыба эта — карп. Смысл в том, что карп, идя против течения, преодолевает любые препятствия — и перекаты и стремнины. Пусть таким же будет и юный японец... Незадолго до праздника я разъезжал по деревням, видел этих карпов, заходил в дома — и, между прочим, установил: в одной семье на шесте столько же карпов, сколько и мальчиков, в другой мальчиков двое-трое, а карп один, в третьей семье мальчишки-то есть, а карпа вовсе нет. Объяснили мне очень просто:

— Хотели бы, да не на что.

Конечно, праздники берут у японцев немало сил и времени. Но все же я считаю, что роль обрядности в жизни молодежи твой Сатаро преувеличивает. Дело не в обрядах. Есть нечто худшее.

К. Ты судишь со стороны, а Сатаро сам все это пережил. Он говорит, что чуть не половина жизни японца уходит на традиционные обряды и подготовку к ним. Почти плачет, вспоминая, как в детстве его таскали по праздникам:

— Я так уставал от этих ритуалов! Лучше бы занялся языками, например английским. Позор, как я его плохо знаю.

В обучении и воспитании японца, по мнению Сатаро, много недостатков. Он считает, что иероглифы — то есть запись не звуков, а понятий — пережили себя. Выучить замысловатые значки — адский труд. Выписывать иероглифы красиво тушью — лишняя затрата сил.

В японском словаре 50 тысяч иероглифов. Дети в начальной школе едва успевают выучить 1800 — за шесть лет.

Прочитать газету им трудно: там 2500 иероглифов.
М. Не знаю. Недовольства иероглифами я в Японии не слышал. Напротив, японцы мне говорили:

— Смотрите: висит у шоссе один-единственный иероглиф. А вам бы пришлось писать шесть букв: «опасно».

К. Сатаро мне сказал:

— Лучше бы упражняли с детства в мышлении. Приучали бы думать на трудные темы. Предпочитают давать дело рукам. У нас техника прежде всего. Технические способности японца развиты хорошо. А самостоятельность мышления отстает. Человек легко становится автоматом.



«Атомизация»

М. Что-то похожее говорил и Такэси Кайко — не у нас дома, в Москве, а в Токио, на приеме в Ассоциации японских писателей. Этот молодой писатель произнес там взволнованную речь о молодежи. Главная мысль была вот о чем. Хотя в Японии промышленность растет, обеспеченности работой, а значит, и уверенности в будущем у людей нет. Прежде всего из-за угрозы увольнения. Это ведет, как он сказал, к «атомизации» общества. Новейшая, то есть «атомная», техника в капиталистической стране превращает человека в беззащитную, разобщенную, часто вовсе не нужную единицу, в «атом». «Атомизация» жестоко отражается на молодежи — на ее материальном и, что важнее, моральном состоянии. Крайне правые становятся фа-

шистскими убийцами. Другие, напротив, идут на ложнореволюционные жесты, без оснований мнят себя «авангардом», отрываются от масс. А многие утрачивают всякие цели и коснеют в гнетущем чувстве одиночества...

Горячая речь Кайко нас, только что приехавших в Японию, и огорчила и обрадовала. Огорчила потому, что к прежним нашим представлениям тогда начали быстро добавляться собственные печальные наблюдения: увидели, что японская молодежь скудеет перед пошлым эстрадным телевизором, за детективными книжками.

А обрадовала речь Кайко потому, что мы поняли: живут же в Японии молодые писатели, которые думают о родном народе.

К. Когда Кайко вместе с Оэ был у нас дома в гостях, он, если помнишь, говорил примерно так:

— В Японии должны быть перемены, но какие — я не знаю. Будущее неотвратимо надвигается, но представить его не могу.

Значит, наш друг Кайко сам есть «атом».

М. Отчасти ты права. Что у кого болит, тот о том и говорит. Но я хочу за таких, как Кайко, заступиться. Вернее — оценить по справедливости.

Литературная молодежь, подобная Кайко и Оэ, получила буржуазное воспитание и очень сильную дозу западного влияния. В них глубоко сидит и сулит всякие неожиданности декаданс с его скепсисом, анархичностью, биологизмом, эротикой, обособленностью, с этой самой «атомизацией». Такое увидеть в них легче всего. И вот при таком-то наследии они, в отличие от многих других своих сверстников, стали под давлением действительности мыслить критически, проявлять неудовлетворенность, чего-то

искать, думать не только о себе, а о людях, стали — прямо скажу — мучиться. Перечитай очерк Кайко о городе Токио в нашей «Иностранной литературе»: там нет прогноза, но там есть скорбь, есть критика — и уже это хорошо.

Будущего Японии не видят, а настоящего не приемлют — вот драма этих молодых писателей, уже очень известных. Главное, что их мучит, — судьба японской молодежи. Ездят по свету, сами, может быть, того не подозревая, ищут — с чем сравнить, на что опереться. Ты смотри: пришли к нам в гости, нас с тобой почти ни о чем не спрашивали, больше рассказывали о себе, но Марину нашу испытывали с пристрастием. Сразу видно, что людей тревожит, на чем сосредоточены их мысли.

Прочитаю, что говорил Оэ из Москвы по радио на Японию:

«...Вчера вечером было очень холодно. В этот вечер посетили дом московского писателя Михайлова, ездившего в Японию. Мы беседовали с его дочерью Мариной, студенткой МГУ. Когда мы спросили ее, чего она больше всего желает, то она ответила, что больше всего хотела бы найти себе работу по сердцу, которой могла бы отдать все свои силы... В Варшаве, где я был до приезда сюда, я познакомился в журнале с мнением журналиста, который провел интервью с молодежью. Среди этой молодежи были представители различных типов: и стилиги, и стремящиеся к деньгам, и мечтающие о славе и положении, но есть среди варшавских молодых людей и такие, кто старается найти работу по сердцу и посвятить ей свою жизнь. Варшавский обозреватель писал, что возлагает свои надежды на молодежь последнего типа. Я тоже так думаю. И полагаю, что это результат стабилизации обстановки после революции».

Вслушайся: я тоже так думаю! Результат революции!

Вот что на уме и на сердце у молодого японского писателя, который мыслит, колеблется...



К. Приехал в Москву из Парижа и снова вернулся туда.

М. Окончательные результаты сравнительного анализа нам неизвестны.

К. Отрицал, что интересуется марксизмом.

М. Сам об этом, возможно, не догадывается. Или обманывает себя. Или не хочет признаться. Но ведь ты сама слышала его слова:

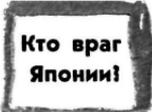
— Враг Японии — американский империализм.

К. Вот и видно, что далек от марксизма. Второго врага — собственный капитализм — не заметил.

М. Подождем. Ты обрати внимание на речь его друга Кайко, о которой я сейчас говорил. Ведь духовное смятение молодежи, эту «атомизацию», он выводит не из каких-то идейных абстракций, как еще недавно можно было ожидать от японского интеллигента, а из условий экономики. Согласись, это большой шаг вперед.

Жизнь дает хорошие уроки. В Токио после приема в Ассоциации писателей я привез Кайко к себе в отель и попросил рассказать о своей жизни. Вот что я услышал:

— Студенческие годы были самые тяжелые. Раны войны: нечего было есть, люди страдали, не было жилья. Мать, две младших сестры, дед, — работал я один. Пекарем, то-



**Кто враг
Японии!**



**Жизнь
писателя
Кайко**

карем, учеником разных профессий, переводчиком с английского, с французского... Переводил журналы дамских мод для ателье и портных. Влюбился в девушку Йоко. Она писала стихи — среднее между французскими символическими и Маяковским. Оба работали. Потом стало еще тяжелее: родилась дочь Митико. Вместо учебников покупали молоко. Печатался с трудом: не развлекательная литература. Повезло: за «Голого короля» получил премию Акутагава — теперь печатают. Три дня в неделю с девяти до пяти работаю в «Сантори» — это компания по производству виски. Если бы бросил службу, пришлось бы писать не то, что хочу, а — чтобы жить...

К. Одно бесспорно: неустроенность разлагает человеческие души. Я знаю, что в Японии многие кончают университет, а работают как простые служащие. Помню филолога из кондитерской — там он простым секретарем у хозяина. А в косметическом кабинете девушка с высшим образованием работает как подмастерье — помогает ухаживать за богатыми дамами: гладит кожу, укрепляет волосы, полирует ногти и, конечно, кланяется.

Есть счастливицы, которые попали на свой путь. Но большинство бьется, теряет силы, здоровье, веру...

А перед этим еще успевают намучиться в университете: ведь высшее образование очень дорогое. Курода в книге «365 дней в СССР» удивляется, что советским студентам не приходится бросать учебу из-за отсутствия денег и что они обычно даже летние каникулы не тратят на то, чтобы подработать.

М. В Токио на Канде я заходил в школу по подготовке в вуз. Чтобы прослушать одну трехчасовую лекцию, нужно заплатить 1300 иен, то есть 4 доллара. Страшно дорого.

Особенно страдают те, кто кончает гуманитарные факультеты. В редких случаях они находят работу по специальности. Меня Курода познакомил с одним психологом — он, между прочим, перевел на японский язык некоторые статьи профессора Лурья, с которым ты ездила. Человек этот живет тем, что торгует искусственной кожей.

В Киото, устав ходить по храмам, мы отдыхали в кафе около ворот императорского дворца — за стойкой заметили девушку, о которой писатель Накагава сказал:

— Дочь хозяина. Она моя ученица. Кончила литературный факультет университета.

К. Знаю это кафе. Но тут, я думаю, мы имеем дело с другим явлением, очень частым в Японии. Дочери более или менее обеспеченных родителей учатся в университетах только ради общего развития. И эта девушка, наверно, наблюдает у отца за работой служанок. Ждет счастья, то есть подходящего мужа.

М. Возможно. Был у меня и другой случай. В самолете, летевшем на остров Кюсю, я разговаривал с соседом. Он инженер, специалист по морским приборам, живет в Фукуока, высоко ценит советский цирк. Летал в Токио навестить семнадцатилетнего сына:

— Учится на художника, а кем будет работать — неизвестно.

«Учится на художника, а кем будет работать — неизвестно...» Эта формула показалась мне характерной и очень тревожной.

К. Неблагополучно с молодежью.

М. Неблагополучно. Но «неблагополучно» — понятие широкое. Гораздо более широкое, чем в страшной речи Кайко об «атомизации». И не такое одностороннее.

Тогда, в первые дни после приезда в Японию, в столичном городе, при поверхностных впечатлениях, я, должен тебе признаться, просто ужаснулся...

Но послушаем, что на этот счет говорил студент Сатаро.



К. Сатаро начал с обрядов, а затем сказал, как и ты, что есть нечто худшее, чем традиционная обрядность. По его словам, многие молодые люди из тех, кто бежит от старого, попадают в другой капкан — и гибнут. Юноша признался: сам он, видя, что старое пресно, вздумал искать остроты в ревью, у телевизора. Искал новое в переводной литературе, в голливудских фильмах. Бывало, ходил в кино почти каждый день. Иногда прельщался призывом рекламы за дешевую плату посмотреть несколько фильмов за раз — сидел до одурения на десяти подряд. Уходила половина суток, было трудно одуматься. Потом сказал себе:

— Так плетутся сети для глупой рыбы.

Понял, что увлекался чем-то ненастоящим, примитивным. Вовремя спасся.

М. Этот, возможно, спасся. А для других угроза осталась. Я представляю, как ревью заражает и засасывает: у японцев много выдумки, виден режиссерский размах, удивляют неожиданности. Однажды в Токио я видел даже настоящий пожар на сцене.

То же и в японском кино. Сценические приемы, оптика,



цвет — на высоте. По числу выпускаемых фильмов — первое место в мире ¹. Создали даже фильм, который идет девять часов подряд.

И при всем том в кино преобладает пошлость. В большинстве случаев жалким образом копируют ковбойские фильмы или самурайские пьесы. Хуже того: прославляют героев прошлой войны, помогают милитаризму, который возрождается. Какую подлинную, благородную Японию видел я по обе стороны дороги, когда мы на острове Кюсю ехали из города Кумамото на вулкан Асо! И величие все нарастало. Сначала, внизу, — лиловые пряди глициний, изумрудные поля, потом, в горах, — гидростанции с высоким напором, розовые деревья цветущего персика, потом, еще выше, — свежие луга и возделанная, заселенная котловина самого обширного кратера в мире. В ней поместились три городка и одиннадцать деревень. А на самом верху — строгие скалы, вершины пяти меньших кратеров, клубы дыма... Туда, к жерлу вулкана, мы поднялись в висячем вагончике, бежавшем по тросу над пропастью; девушка, ведающая вагончиком и опоздавшая на несколько секунд, проговорила:

— Пожалуйста, извините меня, я так долго заставила вас ждать.

Из середины кратера, из чрева земли, тучей исходил дым, накипаая желтой серой... Но прежде чем сесть в вагончик, мы прошли через павильон — и там, на огромной высоте над Японией, в разреженном горном воздухе, в необычайной красоте, мимоходом взглянув на голубое теле-

¹ В последнее время число выпускаемых фильмов сократилось, конкуренция с телевизором привела японскую кинопромышленность к кризису.

визионное стекло, увидели: он ее целовал, а она его с омерзением била по лицу.

В Токио я ездил на киностудию «Никкацу», одну из крупнейших. Она выпускает фильмы для молодежи. Ехал туда — и думал: что застану в съемочном павильоне? Если судить по большинству картин, которые видел в Японии, — наверно, сцену в кабаке.

Как ни смешно, но именно так и оказалось. Снимали фильм «Мужчина с автоматом». Завели в один павильон: красотки сидят с рюмками в руках за столиком и переглядываются с гангстером. Вошли в другой: сцена пьяной ссоры между столиками...



Известный киноартист Хидеаки Нитани, играющий всю эту ерунду, во время перерыва разговор начал так:

— Я хотел бы сыграть роль в глубокой картине. Но фирме нужна прибыль, а как ее достичь, не ввязываясь в рыночную борьбу с Голливудом?..

Разговора не закончил: убежал сниматься. Студия в лихорадке — все спешат и друг друга погоняют. Замешкаешься, не выпустишь каждые три-четыре дня новый фильм — прогоришь...

На прогрессивные фильмы никто не дает денег.

И все-таки они выходят... Поэтичный, благородный, безмолвный «Голый остров» снимали режиссер Кането Синдо и двенадцать его сподвижников на свои средства. И, как из-

вестно, получили первую премию на Московском фестивале.

Остров с изнурительным, адским трудом возделывают бедняки, люди высокой души. Синдо, кажется, и сам не понимает, что сделал. В Москве его спросили:

— Ваш островок в океане — обобщенный образ Японии?

Синдо, который хорошо знает жизнь японцев, который потерял семью при взрыве в Хиросиме, ответил:

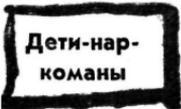
— Ба! А ведь я об этом не подумал...

К. В Японии больше смотрят не «Голый остров», а «Мужчину с автоматом» — или как там называется? И вот результат.

— Зайдите, — говорил Сатаро, — в ночное кафе Токио, в бар Киото или Осака — там вы их встретите. Алкоголики, проститутки... Среди них — подростки. Газеты и комиксы раздают «бум праздности», отвлекают от политики.

Все эти притоны, кино, стрип рано пробуждают в японском подростке нездоровую чувственность. Курят сомнительные сигары, пьют кофе с героином. Свыше двухсот тысяч наркоманов. Это — на учете, а ведь есть еще не пойманные.

М. Все правильно. При мне газеты подсчитывали, на какую сумму обнаружено наркотиков у контрабандистов. Установили цифру колоссальную: на 1,6 миллиарда иен. Многие считают японскую «пачинко» разновидностью наркомании. Эта проклятая грошовая рулетка превращается в национальное бедствие — как «бинго» в Англии. Повсюду набиты людьми помещения с механизированными бильярдами — перед каждым торчит человек, тупо опускает шарик за шариком в надежде выиграть. Звонкие шарики скачут мимо



Дети-наркоманы



Японская рулетка «пачинко»

дырочек, стоит невыносимый лязг и скрежет, текут трудовые иены, течет время, сгорает жизнь...



К. Японские дети дисциплинированы. Идут, например, девочки в матросках с синими воротниками, мальчики в черных мундирчиках в школу или на экскурсию — в Японии все время экскурсии — чинно-чинно, ранцами не дерутся. Но все же и дети попадают на улицу.

В Японии давно, почти сто лет назад, введено обязательное обучение. Но я сама видела, что есть дети, которые не ходят в школу: нечем платить за учебники, одежду и завтраки.

Вынуждены работать — и работать без норм, с ничтожной оплатой. Мальчики трудятся рассыльными в отелях, разносчиками газет или молока, служат у мелких торговцев. Девочки — это няни, швеи.

Видела в парке Киото девочку в бедном, но чистом пальтишке. За спиной у нее спал ребенок. Он прирос, как горб. Согнувшись, она читала. Оказывается, ушла из школы — семье нужен ее заработок: тысяча иен в месяц.

Вот грустное описание детской истории у одного японского публициста.

Четырнадцатилетняя девочка не ходит в школу. Она работает в оживленном месте района Сибуя в Токио, в баре. Эта девочка — старшая дочь в семье из пяти человек.

Отец и мать больны туберкулезом. В баре посетители научили подростка пить саке и курить табак. Родители знают об этом. Но что поделаешь, говорят они, когда семья голодает?

Молодые люди попадают в шайки гангстеров. Преступления среди подростков растут.

М. И это верно. Преступления точно исчислены: за 1960 год — 1 578 829. А сейчас еще больше. В одном Токио 26 в час¹.

К. Сатаро утверждает, что характер, личность, темперамент японцев изменяются к худшему. Потускнели моральные принципы. Исчезает сдержанность. Очень обострена жестокость...

М. Должен сказать, что я нигде не встречал такого зверского бокса, как в Японии. А какой чудовищный «прэфе-шенл реслинг» я там видел! Это профессиональная борьба, вернее, драка, где допущены любые приемы. Бьют друг друга, кусают, душат, выворачивают руки. Во время матча почти каждый раз кто-нибудь умирает.

К. На ринге?

М. Что ты! Не на ринге, а перед телевизором от нервного потрясения.

К. Сатаро мне говорил, что молодые в Японии ничего не боятся, ни к чему не стремятся, ничего не жалеют. Считают: все доступно, все дозволено. Ты знаешь, в Японии хорошие, послушные дети. Их берегут, лелеют, воспитывают. Но тем не менее каждый день ловят детей, убежавших из школы или от родителей. Ничего не стоит оскорбить, уда-

¹ В 1963 году в Японии подростками было совершено два миллиона преступлений.

рять. Ежедневно то грабеж, то убийство. Собственная жизнь потеряла цену. Убивают почти без повода. В газетах постоянные сообщения: муж повесил жену — недосчитался шести тысяч иен в кошельке; подростки избили учителя; парни оскорбили девушку...

Слишком много говорят о самоубийствах и способах самоумерщвления.



М. Не зря говорят. По числу самоубийств Япония — на одном из первых мест.

К. Стали даже появляться статьи с требованием легализовать самоубийства! Некий автор вполне серьезно пишет в «Джапэн таймс»: «Предлагаю открыть специальное учреждение для самоубийц и предоставлять там всевозможные способы — пилюли яда, кинжал, веревку, электрический стул, динамит и даже падение в водопад».

Ты думаешь, это предел японских ужасов? Сатаро, видно, не хотел говорить вначале, а потом доверился:



— В Японии есть торговля рабами. В бедных семьях продают девочек-подростков. Их скупают за бесценок. За девушку платят вдвое дешевле, чем за породистую собаку или кошку. Перепродают в дома свиданий, главным образом на дорогих курортах вроде Атами. Перекупщик наживает по двадцать — тридцать тысяч иен на каждой девушке. Groшовая плата отцу рассматривается как аванс в счет будущего заработка. Но это — закабаление. По сути дела —

рабство. Многие из девушек не выдерживают, кончают самоубийством.

Я спросила — в наше ли это время?

Сатаро не оставил сомнений:

— За несколько дней до вашего приезда в Осака газета «Асахи» сообщила, что в дома свиданий этого города продано тринадцать школьниц из Хакодате.

М. Вот как обернулась для тебя эпоха Нара!

К. После разговора Сатаро взволнован. Чтобы исправить положение, я задаю вопрос, который, как оказалось, только портит дело. Хочу узнать о планах на будущее.

Сатаро нервно смеется. Тихо говорит:

— Если не будет войны, стану переводчиком с русского. А если будет война — потребуют того же, и это ужасно. У меня и сейчас много неприятностей. Не всегда доверяют тем, кто занят русской темой... Шаткое будущее. Жениться не могу. Ждем, когда будет прочный заработок.

Сейчас я подумала: Сатаро чем-то похож на писателей Оэ и Кайко. Он — из «сердитых». Нахохлился. Очень требовательный. Суровый. Категорически и зло мыслит. Даже внешне он особенный: резкие движения, подчеркнуто просто одет. В серой куртке, с растрепанной прической.

М. Ну, Оэ и Кайко — не заросшие. Хорошо одетые джентльмены, поблескивают очками, подтянуты — ты видела сама. Как все молодые японцы, они выглядят более юными, чем есть. И хотя в душе сердиты — внешне корректны, а по отношению к нам, согласись, были просто милы.

К. Я говорю не о внешнем, а о внутреннем родстве молодых японских интеллигентов. Видно, один недуг их разъедает. Сатаро говорил:

— Мне нужно выяснить точно, где белое и где черное.



**Сердитые
молодые
люди**

Кто за войну, а кто за мир. Пока у меня изрядная путаница в голове. Одно мне ясно: надежда на мир — это флаг впереди.

М. Когда на первых порах я жил в Токио в отеле, когда ездил по столичным улицам на приемы и в театры, когда встречался и разговаривал вот с такими же интеллигентными юношами, как твой Сатаро, у меня при мыслях о японской молодежи душа погружалась в уныние. Я думал: один, кажется, опустились, а другие хоть и сохранили культуру, но утратили цель, а если и видят ее, то слабо за нее борются.

Так бы и я вернулся из Японии в Москву в горестных чувствах, если бы не поездка в Омута. Возвратившись оттуда в Токио, я и на токийскую-то молодежь взглянул по-новому...



К. Расскажи по порядку. Это, может быть, самое главное.

М. Олесь Гончар, Ирина Львовна и я отправились в путешествие из Токио на юг Японии. На аэродроме Ханэда сели в самолет, сплошь набитый деловыми людьми: свежие белые воротнички, свежие складки на брюках, свежего вида чемоданчики. Стюардесса в пилотке раздала карты Японии с трассой полета и газеты на японском и английском. Как поднялись в облако, так из облака и опустились —



будто три часа висели неподвижно. Но вместо застроенных окрестностей столицы увидели под собой поля сурепки и среди них шахты и черные горки угольных отвалов. Вышли — очень тепло. Южный остров Кюсю. Через полчаса нас привезли в город Фукуока, в один из главнейших индустриальных центров страны, в японский Рур.

Сразу почувствовали: тут царит необходимость. Ни шика, ни прикрас. Резкий запах фабричного дыма. Незапятнанные воротнички и несмятые складки где-то растворились в будничной толпе. Спеша бежит трамвайчик мимо прозаических громад из кирпича и бетона. Кинематограф показывает «Прыжок в ад» и «Любовь к французенке»; он не сулит настоящего веселья; думают так: если на час-другой не отвлечешься, вовсе не вытянешь лямки. На углу против гостиницы «Хаката Империял» дежурит рабочий пикет с повязками: «Не уступим!»

В Японии дня не проходит без забастовок. Иногда они поднимаются волнами и прокатываются по всей стране. Одна из таких волн совпала с нашим пребыванием в Японии — так называемое «весеннее наступление». Куда бы мы ни приезжали, везде кто-нибудь бастовал. В Кумамото при нас бастовали автобусники, в Кагосима — железнодорожники, в Киото — шоферы такси. Бастовали заводские рабочие, портовики, судостроители...

На мелких и средних предприятиях, а их в Японии много, борьба затруднена, но и там она идет — в своеобразных формах. Мы видели в Киото: к стене какой-то мастерской приклеены старые газеты с иероглифами, крупно начертанными тушью и чернилами: «Наш хозяин Цуцуи ворует зарплату! Цуцуи первый скряга на всю Японию! Подлец Цуцуи нас обсчитывает!»

В Фукуока *мы* весь вечер просидели на встрече. Нам роздали веера, — наверно, было жарко. Ноги от сидения на полу, кажется, затекли и ныли — об этом я не помню. Уж очень интересные были собеседники: работник профсоюза, издательница журнала, профессор французской литературы, архитектор, писатель... Писатель необыкновенный, такие в Токио мне еще не попадались: юноша с пухлыми губами, почти мальчик, мягкий, восторженный... Его звали Рюдзо Саки. Узнав о нас, Саки приехал из соседнего города Явата, с самого большого в Японии металлургического завода, где работает литейщиком. Видя перед собой этих живых, полных энергии деятелей, я спросил:

— А правду говорят, что современной японской молодежи свойственно чувство одиночества и грусти?

Писатель-литейщик ответил:

— Завтра в городе Омута поймете, что такие рассуждения — интеллигентская слабость.

О термине я спорить не стал, но подумал про себя: «Ты, друг мой, и есть интеллигент самого высшего порядка».

Утром на электричке мы поехали в Омута. По дороге я видел крестьян под круглыми плоскими шляпами из камыша, похожими на зонт без ручки, сельские дома из черного дерева под соломой и темной черепицей, кудрявые горы, которые уходили в туман, таяли в нем.

К. Как на пейзажах Сессю.

М. Похоже, но на пейзажах пятнадцатого века грядки на полях нигде не укрыты полупрозрачным целлофаном.

Через час приехали в Омута, центр угля и химии. Это первый или второй город Японии по проценту безработных — то есть по степени голода. И в то же время это го-

род, где рабочие добились самого большого в Японии числа мест в муниципалитете — больше половины. Это тот самый город, где находятся шахты Миикэ.



К. Знаменитые шахты Миикэ! Вот в чем дело!

М. Компания Мицуи нашла выгодным уволить с шахт Миикэ более тысячи рабочих. Профсоюз собрал увольнительные повестки и спалил на костре. Так в ответ на локаут началась забастовка протеста. Она стала во всей японской истории самой долгой, самой боевой.

Когда борьба разгорелась, хлынули сюда добровольцы, чтобы пикетировать шахты или помогать семьям забастовщиков, — мужчины и женщины, рабочие и студенты, учителя и врачи. Люди Японии и других стран делились с шахтерами Миикэ своим заработком. В борьбе на стороне рабочих участвовало до миллиона человек.

И другая сторона получала подкрепления. Банки и монополии вносили деньги в фонд помощи компании Мицуи. Вербовались и стягивались в Омута штрейкбрехеры. Собирались полчища полицейских.

Борьба ожесточилась до предела, перешла в рукопашные схватки. Пролилась шахтерская кровь.

Забастовка длилась 313 дней. Наконец реакции удалось расколоть профсоюз. Компания обязалась за свой счет перевезти уволенных в другое место и устроить на работу

там. Стачка, прогремевшая на весь мир, закончилась. Это произошло незадолго до нашего приезда.

К. Недавно я читала, что уволенные не получили работы.

М. Не знаю, какое там положение сейчас. Но ясно, что борьба в сегодняшней Японии может затихать лишь на время.

Когда мы были в Омута, огонь в душах продолжал пылать.

Мы их увидели, героев. Невысокие, смуглые, сдержанные, с улыбкой достоинства и приветя, в рабочих кепчках.

К. Представляю их во время забастовки. Как на картинах Тосицугу Ёсида: кулаки сжаты, лица с решимостью, будто высечены из гранита.

М. С красными флагами и плакатами радостно встретили нас на вокзальной площади. Отвели в тот профсоюз, где был штаб борьбы, рассказали о ней. Дали на память белые ленты с иероглифами — ими японские забастовщики повязывают себе лоб. А потом отвезли туда, где еще недавно кипели сражения.

За угольными бункерами, за рельсовыми путями, на берегу морского залива, поэтичное название которого — «Предутренный час» — наполнено каким-то неожиданным и потому особенно волнующим смыслом, возвышается голый и мрачный железобетонный копер шахты Микава¹.

Суровым видом своим копер напомнил мне башни наших осетин или сванов. Здесь был центр борьбы.

Рабочие опоясали копер проволочными ограждениями

¹ Шахта Микава в 1963 году стала известна всему миру по грандиозному взрыву, вызванному плохим состоянием техники безопасности. 451 шахтер был убит и 900 ранено.

и баррикадами. Армия полицейских и штрейкбрехеров долгие недели штурмовала его — с помощью железных палок, бульдозеров, гранат со слезоточивым газом, особых багров и крюков для растаскивания баррикад.

Забастовщики отбивали атаки, не считаясь с ранениями и увечьями. Они бесстрашно бились у стен башни — и удержали ее до конца.

Пояснения были поразительно краткими:

— Отстояли.

Затем нам показали место у ворот одной из шахт, где подкупленный бандит ножом убил молодого шахтера Киёси Кубо.

К. Мне известно, что в Японии на похоронах революционеров поют песню русского писателя Мачтета «Замучен тяжелой неволей».

М. Памятник убитому поставлен на улочке деревянного горняцкого поселка. Мы положили цветы у четырехгранного обелиска. На каменной плите высечены золотые иероглифы:

«Скоро наступит день, когда история будет написана верно. И в тот день скажут, что мы жили правильно. Наши плечи согнулись из-за тяжелого труда, суставы наших пальцев распухли из-за нищеты, но взгляд наш был прямым и без колебаний смотрел в прекрасное будущее. Так о нас скажут».

Потом была встреча с рабочей молодежью.

Юноши и девушки у входа в зал сцепились руками в ряды — и ряды раскачивались. Передний — вправо, второй — влево, третий — вправо. Люди качались в такт мелодии — пели «Интернационал».



Чистота
и страсть



На груди были значки — бело-красные. Я спросил, что эти цвета означают.

— Чистоту и страсть.

В зале на фоне красного флага СССР разговор длился часа два.

Изнурительная работа в плохо механизированных шахтах с постоянной жарой в 36—38 градусов. Ничтожный заработок или безработица. Преследования и увольнения за непокорность, за профсоюзную работу. Теснота жилищ. Туберкулез. Недоедание... Нет, об этом они не сказали ни слова.

И после не раз видел я оптимизм японских забастовщиков. В Кумамото в разгар тяжелой стачки профсоюз транспортников позвал нас на свой спортивный праздник. Там в каждое из состязаний был внесен юмор. Жены, наперегонки спеша к финишу, выхватывали по дороге из ящика зубами что-то вроде пельменя. А мужья, воздавая должное своим подругам, домашним хозяйкам, надевали на бегу, подхватив с земли, белый фартук и привязывали на спину котомку, изображавшую ребенка. Стачка хохотала! К. Что же вы узнали на встрече о молодых шахтерах?

М. Они полны боевого духа и не собираются унывать — вот что мы узнали. Мы узнали, что они любят раннего Горького: пояснили, что «любят мечту». С трудом, но из-



**Надежда
Японии**

дают на шахтах литературный журнал. Требуют советских фильмов. Интересуются проблемой разоружения и постановкой музыкального образования в СССР...

Особенно активен и рассудителен в беседе был один бодрый, даже веселый парень — к сожалению, не записал его фамилии. В конце разговора выяснилось, что всего лишь день назад он уволен с шахты.

Вот их-то и бьет капиталистическая рационализация, отнимает работу, лишает хлеба, а они и не думают «атомизироваться»!

К. Ты сказал об этом писателю Кайко?

М. Позже, когда мы вернулись в Токио, я спросил Кайко и Оэ, знают ли они все это и как все-таки обстоит дело с «атомизацией». Ответил мне Оэ:

— Знаем. Мы с Кайко во время забастовки полтора месяца прожили на шахтах Миикэ. Однако кроме молодежи, закаленной в борьбе, есть и другая. Если хотите, назовите ее отсталой. Возможно, мы, интеллигенты, несем на себе ее черты. Но она тоже кровь от крови нашего народа, и мы не должны забывать о ней. Придет время — она ответит на старый вопрос нашего великого поэта Исикава Такубоку: «Молодежь, кто твой враг?»

Но тогда, в Омута, я не думал о «сердитых писателях», об их сомнениях, о разлагающих комиксах, о рулетке «пачинко», о кофе с героином...

В Омута был уже поздний вечер, когда мы добрались до «Поющих голосов Японии». Где-то в глубине темного города, в рабочем клубе или школе, большой зал был полон. На партах сидела молодежь — человек полтораэта. Выдвинули две парты вперед к дирижеру — и посадили нас к залу лицом.

Хор запел песню, сложенную в борьбе с американо-японским договором:

Ради нашей прекрасной страны...

Песню, посвященную убитому шахтеру Кубо:

Ты погиб безвинно, но мы будем
Бороться до победы...

«Марш энтузиастов» Дунаевского. Я подумал — как это кстати сегодня, в наши космические дни:

Мы пронесем через миры...

Вдруг — среди песен — с далекой парты раздался голос:
— Расскажите о ваших девушках и юношах. Как работают, как учатся, как женятся?

Затем снова песни... «Отдай Окинаву», «Варшавянка», «Интернационал». И последняя — «Дубинушка». С припевом на русском языке — ради нас! Когда они успели выучить?

Мы спросили: кто они, откуда?

Дирижер провозгласил:

- Химическая промышленность, встаньте!
- Государственные служащие, встаньте!
- Домашние хозяйки, встаньте!
- Электростанция, встаньте!
- Шахты, встаньте!

И тут я подумал о Японии: есть ли сейчас в мире капитализма страна с более революционной молодежью?



КРАСОТА
У
ТРУДА



04
7/2



...НИККО - ТОКИО...

К. Мне еще до поездки один знакомый, живший в Японии, рассказывал:

— Цвела камелия. Деревцо было маленькое, а цветы — крупные. В праздничный день семья японцев: отец, мать, двое детей — все в кимоно — сидели неподвижно вокруг камелии. Я шел мимо, затем вернулся примерно через час. Японцы все еще сидели. Любовались...

Эту историю я вспомнила в Никко, куда мы ездили из Токио.

Оделись потеплее. В Никко, в горах, была настоящая зима. Поезд заполнили спортсмены в ярких свитерах, с коньками, с лыжами.





Поездка в горы

Ехали укутанные школьники — у них каникулы. Матери везли маленьких румяных детей, похожих на кукол, везли под пушистыми клетчатыми пледами, вместе с игрушками. В Японии очень нежно относятся к детям. Маленькие японцы приветливы и учтивы, терпеливы в путешествии. Я не слышала криков и капризов.

Двери в вагоне перед тобой открываются сами. Широкие окна чисто протерты. У каждого места наушники: хочешь — слушай музыку. Остановки объявляют по радио с вежливым обращением. Каждый раз перед этим звучит мелодичная музыкальная фраза. Не забудут поблагодарить тебя за то, что едешь в этом поезде. По вагону возят шестиярусные, как пагоды, тележки. Японки в белых наколках певучим тонким голоском предлагают кофе, сласти, апельсины. Дети поглощают тянучки и леденцы.

М. Не хочется мне вмешиваться и нарушать твоё настроение...

К. Слишком уж благодушное, да?

М. Тем более не хочется, что я мог бы даже и добавить.

Если ты в вагоне купишь на завтрак вареные куриные яйца в сетчатом мешочке, то найдешь там два маленьких бумажных пакетика: один с солью, а другой пустой — для скорлупы...

Но у меня перед глазами и другие поезда. Не курортные поезда первого класса, а пригородные, для тех, кто едет не кататься на лыжах, а на работу и с работы. Давка и духота в вагонах невыносимые. На каких-то остановках в Токио есть даже команды вталкивателей: с платформы напирают плечом, чтобы двери закрылись.

К. По дороге в Никко мне все было любопытно и все очень нравилось...

М. Я не говорю, что это не должно нравиться. Мне очень нравится: покупаешь сорочку, а внутри находишь портативную вешалку — плечики. Если же в магазине не окажется сорочки твоего размера, то продавец будет умолять тебя простить его за это. Одна токийская туристическая фирма во время дождя вывесила объявление: «Мы нижайше просим дорогих гостей простить нас за столь плохую погоду...» И мне нравится, что нигде и никогда, кроме особо оговоренных случаев, японцы не примут то, что называется «на чай». Берешь билет в вокзальной кассе и получаешь удовольствие от созерцания палевых канареек, которые тут же висят в клетке. Пришло тебе письмо — дерни за хвостик тоненькой ниточки, и конверт сам раскроется, не надо его разрывать. Купил бутылку воды — прилагается пластмассовая пробка. Захотел в гостинице перед отъездом свешать свой чемодан — весы на колесиках поднимут на лифте с первого этажа и вкатят в твой номер. Надеваешь у двери ботинки — к твоим услугам язычок, да не короткий, а длинный, как меч: не нужно сгибать спину. Культ упаковок даже чрезмерен — какую-нибудь пустяковую штучку завернут во множество одежек, дома не знаешь, куда девать горю коробок, ворох бумаги, цветные ленточки.

К. Если дама пришла в кафе, села за столик и ищет, куда бы ей деть сумочку, — тотчас принесут хитрый крючок, который прикрепляется к краю стола: не утруждай себя, вешай.

Нужно ценить красивый, простой, предупредительный рационализм японцев. Куда тут сравняться Америке с ее хваленым коммерческим сервисом.

Конечно, я согласна, что нужно видеть и нечто другое... Но погоди.



Вскоре слева и сзади, на другой стороне равнины, показалась высокая коническая гора.

Гора покрыта сверху снегом. Оттенена легкими облаками. Внизу, где склоны, расширяясь, чуть прогибаются — зеленая оборка из леса. Ни с чем не спутаешь.

Мне захотелось с кем-нибудь переглянуться, и я посмотрела на своих соседях напротив. Пожилой японец в старомодном черном одеянии с пелериной. Его жена с проседью в волосах. У нее серый вязаный шарф на плечах. Мальчик-подросток. Все они прильнули к окну. Застыли в изумлении, замерли. Забыли о маленьком чайничке, из которого пили. А ведь видели свою Фудзи, наверное, тысячи раз.

Я кивнула и улыбнулась им. Японцу захотелось поговорить. Мне перевели:

— Мы каждый год несколько раз ездим в Никко. Дорога красивая. Кто не был в Никко, не знает, что такое красота. Слово Никко по-японски значит — солнечный блеск, роскошь. Разные сезоны по-разному красивы. Весной сакура — розовые лепестки на лазурном небе. Зимой — белый снег среди зеленых криптомерий. Осенью — огненные клены. Вы правильно сделали, что поехали в Никко. Здесь хорошо любоваться.

Меня поразило это слово — любоваться. Любование для японцев — жизненная потребность.

М. В жизнеописании средневекового буддийского монаха Кандзан Кокуси я нашел особую оговорку: он однажды так спешил в Киото, что «ни разу не остановился, даже чтобы полюбоваться горю Фудзи». Это — четырнадцатый век. Прошло шестьсот лет. Но и сейчас меня учили: хотите получить от Фудзи впечатление грандиозности? Созерцайте гору с перевалов Хаконэ. Предпочитаете умеренные мас-

штабы? Тогда поезжайте к заливу Суруга, там величину горы скрадывают детали переднего плана. Вас интересует игра света и тени на склонах? В таком случае отправляйтесь в Фудзиномия. Ищете спокойствия? Смотрите со стороны озер у подножия Фудзи. А если желаете мистической окраски — изберите из этих пяти озер одно — озеро Мотосу... Разработанная система — на все времена года, на все часы дня, на любые вкусы.

К. Гляди, сам не попадись! «На любые вкусы». Может быть, больше для заезжих иностранцев?.. Но признаюсь, после разговора с этими японцами в вагоне я уже иначе смотрела на пейзаж — их глазами. Любовалась. В Японии есть особые выражения — «любование луной», «любование цветами», «любование снегом».

М. При наличии времени...

К. Любовь к природе у японцев связана с уважением к животным.

М. Это верно. В Токио на улице, у подножия телевизионной башни, я видел памятник собакам японской антарктической экспедиции. А в Симоносеки, где Ютака Мива возил нас смотреть знаменитый аквариум, мы отметили такой факт: служитель заставлял дельфинов для всеобщего удовольствия выскакивать из воды и схватывать приманку, а когда игра кончилась, снял кепи и низко-низко дельфинам поклонился...

К. Поезд продолжал идти в Никко, я смотрела в окно и любовалась всем.

М. А сами поезда как называются! «Цвет волны», «Морская звезда», «Утренний ветер»... Но это относится не к переполненным электричкам, а к богатым экспрессам.

К. Где мне было тогда об этом думать... Террасы рисовых

полей аккуратно прочерчены — как тушью. Мелькают непохожие друг на друга домики. На крышах сушатся желтые циновки. Выветриваются пестрые одеяла — они лежат, как веера. Деревья любовно подстрижены. Вокруг стволов на весу укреплена солома — сохраняется на зиму, и дерево не замерзает. Кое-где на полях скирды из рисовой соломы в несколько ярусов. Красочные кимоно висят на жердях. Рукава колышутся от ветра — будто живые самураи отгоняют злых духов. Дворики вычищены. Как шашки на доске, лежат треугольнички каких-то туков, повышающих урожай. И все слегка припорошено снегом.

Даже печальные, застенчивые кладбища с вертикальными каменными столбиками притаились на откосах экономно, но опять-таки живописно.

В Никко это мое настроение сохранилось. Было так красиво! Настолько красиво, что я не замечала, как на обычных заезженных туристских путях красоту превращают в товар.

С поезда мы пересели в автобус и стали подниматься вверх. Видны были присыпанные снегом склоны гор, сосны, красный кустарник, горные озера. Высоко в горах, куда ведет фуникулер, — замерзший водопад.

И другая красота. Дело рук человеческих. Аллея из высоких, стройных криптомерий. Она протянулась километров на сорок. Озера, превращенные в катки. Филигранные мостики через пропасти. Миниатюрные электростанции. Отели.

И древние храмы.

Храм Тосёгу, гробница Иэясу Токугава, основателя династии сёгунов. Здание в стиле, который можно бы назвать японским барокко: украшения, завитки, фигурки. Конечно, дело вкуса, но сработано веселым и прилежным масте-



Криптомерии и храмы

ром, — кажется, он строил и улыбался, умилялся, любовался.

В разноцветных лаках ворота. Каменные светильники. Пагода среди криптомерий. Японцы поднимали головы к острям крыш, прикасались к старинным стенам. Они любовались.

Отель, в котором мы остановились, — деревянный, покрытый темно-красным лаком. Снаружи он тоже похож на древний храм. Внутри низкие потолки. Пепельницы на тонких ножках, как светильники. На стенах зелено-красные драконы. Сияют фонари-торшеры на длинном бамбуке... Я чувствовала, как умело приближена природа, введена в жизнь человека. Посмотришь из окна вверх — заснеженная гора и деревья подходят к самому дому. Опустить глаза вниз — природу во двореке японцы еще больше приблизили к себе: возвышается искусственная горка с соснами, поблескивает замерший водоемчик, алеет крошечный кустарник.

М. Японцы достигли такого искусства в садовой архитектуре, точнее, в умении слить сад с жилищем, что сады вывозят на пароходах в другие страны — в Европу и Америку. За большие деньги.

К. И в дом внесена природа. В вестибюле цветет сакура-карлик. В гостиной на столах — «сухие сады»: на блюде растет кустарничек с пестрыми листьями, цветет еще какое-то диковинное деревце. Или просто насыпан песок и лежат камешки — «сад камней». В ресторане на столе перед твоими глазами веточка и три цветка.

М. В автомобилях, в коридорах к стенкам прикреплены маленькие вазочки-бутоньерки: в них два-три живых цветочка...

К. Там, в Никко, за столом, перед веткой, мне казалось, что



я уже достигла того чувства сосредоточенности, восхищения и радости, которое называется любованием.

Любовалась необыкновенными чашками и тарелочками...
М. Любование чашкой входит в ритуал чайной церемонии. Держать чашку надо низко над полом, чтобы не разбить.

К. Глаза разбегались перед разноцветными подливками, всякой зеленью, жареными рыбками. Есть было жалко. Рука не поднималась разрушить эти творения. Для японца каждое блюдо — не только еда, но и картина для глаз.

М. А тут нужна оговорка: когда есть что есть.

К. Позже, в лавке-мастерской кокэси, жена мастера достала мне куклу с полки. Кукла — скромная японочка. Наклон тела изящен, как у живой. Символический ребенок спокойно спит где-то за спиной на плечике. Краски кимоно и фарфурка незаметно переходят друг в друга.

Прежде чем завернуть куклу и отдать, хозяйка поставила ее мужу на ладонь. И они вместе, забыв обо мне, любовались выразительной деревянной фигуркой, сделанной своими руками...



М. Ты хорошо сказала: своими руками. Все, чем любовалась в Никко и по дороге, оплачено неизмеримым, немислимым трудом. Кажется, японцы умеют от этого отвлекаться.

К. И тем более умеют отвлекать путешественников.

М. Но отвлекусь трудно...

К. Больше всего меня восхитили рисовые поля. Мозаика. Неогороженные клочки земли — совершенно плоские, причудливой формы, тесно прижатые друг к другу...

М. Вдуматься только! Во многих местах покатые склоны гор превращены в горизонтальные поля. Террасы идут циклопической лестницей на сотни метров вверх. Для утешения есть поговорка: «Трудясь на земле, достигнешь неба».

Стенки террас укреплены от обвалов. Плодородная земля принесена на спине в корзинах. Удобрения доставлены тоже снизу. Посажен защитный лес. Вода проведена бог знает откуда — я видел реки, выложенные камнем, и мелкие каналы, оплетенные прутьями. А иногда воды наверху просто нет — и ее таскают на себе издалека, как в фильме «Голый остров».

К. И при этом непосильном труде японец любит ярко-зелеными молодыми всходами риса, потом — желтой спелой жатвой...

М. Если б ты видела, как заботливо рис высевают, как выдергивают рассаду и по стебельку пересаживают в поле. Женщины и мужчины работают согбенные, по колено в воде.

Между рядами колосьев еще сажают овощи. Когда снят первый урожай, что-то снова сеют. Под проливными дождями жнут серпом...

Число машин на полях, особенно на севере, увеличивается, но ручной труд продолжает господствовать. Тщательная работа и удобрения дают высокие урожаи.

К. Усталые — складывают рисовую солому в красивые стога. Измученные — поют обрядовые урожайные песни.



**Нищета
в селениях**

М. Эти красиво мелькающие селения живут на грани разорения, под тяжестью налогов, высоких цен на удобрения и низких монопольных цен на урожай, в конкурентной борьбе с продовольствием из Америки, дрожа над каждой иеной, над каждой рисинкой.

К. Тянутся кусты шелковицы. Японец живописно сушил яркие длинные полотнища шелка. Мне хотелось увидеть на лице мастера умиротворенное спокойствие. И, конечно, я его увидела...

М. С шелком в Японии забота — его вытесняют синтетические ткани. Ткани с марсианскими названиями: тетроновая, амилановая, куралоновая, тевированная... Веврки, которые вошли в знаменитую старую басню нашего Хемницера о метафизике, свалившемся в яму, как образ вещи «слишком уж простой», — и те стали сейчас винилоновые, полиэтиленовые, хлористовинилиденновые... В этом, я думаю, своя красота. Оплаченная гением изобретателя и потом рабочего.

Уверен, что ты восхищалась, из какого мягкого, нежного мяса жарятся сукияки. Чтобы мясо стало мягки/и и нежным, японские крестьяне каждый день особыми щетками массируют коров. Американцы пытались ввести это у себя, но им не удалось: массаж скота возможен лишь при ничтожной цене рабочих рук...

К. И еще я вспоминаю необыкновенную картину. Она тоже воплощение искусного труда. Вдоль берега Внутреннего моря на больших пространствах как будто развешано панно. Фон: голубое с розовым небо и синяя полоса взволнованного моря. Как штрихи гравюры или как черные иероглифы на сине-голубой бумаге. Это выставлены на солнце на высоких бамбуковых вешалах водоросли и морская капуста...

М. Люди работают в воде, собирая и развешивая океанские растения. Не спят ночами — берегут их от бури.

Около Симоносеки мы были с Ютака Мива в рыбацком поселке. Домишки скрипят от ветра. Базарчик пропах гнилой рыбой. Теснота. Вся жизнь у берега, рядом с лодкой и сетями. Рыбу ловят круглый год, без отдыха. Вылавливают больше, чем любая другая страна. И продают крупным компаниям за бесценок. Любуясь своим морем, преждевременно умирают. Их жены — молодые старухи. Помню, они вместе с детьми на горячем песке ворошили лохмотья водорослей. Выгоревшая, невзрачная одежда.

К. Платье было бы еще хуже, если б бедная японка не тратила уйму труда, чтобы сберечь его подольше. Перед стиркой швы распарывают. После стирки лоскуты крахмалят и заново сшивают. Поэтому носят годами. Женщины шьют быстро и весело.

М. Всегда ли весело? При нас к берегу причалил рыбак. И я услышал от Мива просьбу:

— Не обижайтесь на него за то, что он такой суровый.

Все в Японии добыто тяжелым трудом. Все, кроме, может быть, красоты горы Фудзи...

К. С природой им повезло: красивые гирлянды островов, уютные бухты, вулканические озера, стремительные водопады, вечнозеленые деревья. Красная сосна на горных склонах, черная — у берега...

М. Но природа беспокойная: тайфуны, ливневые наводнения, ветры, землетрясения. Без сильных рук с нею не справишься.

К. Казалось бы, японцу надо ненавидеть природу, несущую горе, а он ее издавна обожествлял. Видел в ней истину, гармонию, символ бессмертия.

Поразительно, почему тяжелый труд, борьба с природой и постоянный гнет не вытравили у японца тонкого чувства прекрасного.

М. Возможно, надо сказать иначе. Японцы умножают красоту и в этом видят свою силу. Может быть, здесь рождается освобождение от религии? И возникает вера в себя? Вздымались бамбуковые пики крестьянских бунтов... И сейчас в демонстрациях на улицах Токио крестьяне поднимают свои знаменитые «рогожные знамена», знамена из рисовой соломы.

Но все же многие в японской деревне еще скованы отсталостью, незнанием, пассивностью. В деревне живет половина избирателей — именно деревня дает правящей либерально-демократической партии перевес в парламенте.



К. Я все время думала в Никко о японцах: как прилежны, как талантливы! Необыкновенные здания, гравюра на стене, керамическая ваза с диковинным цветком, миниатюрная скульптура — нэцкэ, удивительный парк, мосты через реки, электростанции, отели в горах...

М. Это в Никко, для немногих, ценою труда тех, кто живет внизу, на земледельческой равнине.

Ты смотрела сверху на далекую широчайшую зеленую равнину, часть которой составляет та самая «равнина Муса-си», что странным образом вызвала у писателя Куникида Дотпо любовь к нашему Тургеневу.

И ты не думала, что через четыре месяца мне удастся побывать там, внизу, у крестьян.

И ты, конечно, не была в состоянии вообразить, что там, где-то среди мозаичных полей, зеленых рощиц и далеких черных крыш в глубине деревенской Японии, может существовать «Общество изучения творчества Шевченко»...



**Крестьян-
ский поэт
Сибуя**

Весть об украинском поэте в тяжелые годы, когда Япония еще была императорской, каким-то путем залетела на эту равнину и толкнула к поэзии крестьянского юношу Тэйскэ Сибуя. Родились и были напечатаны стихи:

Эти строки бедняк посвящает тебе

И японским крестьянам — в их горькой судьбе...

Последователь Тараса Шевченко вырос в вожака революционных крестьян, выпускал журналы «Борьба крестьян» и «Самоотверженный крестьянин», много раз арестовывался, попал надолго в тюрьму, стал коммунистом. Через тридцать пять лет после того, как вышли эти стихи, уже автором семи книг, он встретил в Токио советского литератора и повез его туда, в префектуру Сайтама, к родным полям, в отчий дом.

У Сибуя большая, круглая очкастая голова с темными волосами, которые прикрывают лысину спереди и пышной волной вздымаются сзади. Он постоянно улыбается. Не зная ни английского, ни русского, чем может Сибуя выразить чувство дружбы, кроме как улыбкой? Однажды — это было после тяжелого дня разъездов по японским селам — мы отпустили усталого переводчика, а сами вздумали отдохнуть в кино. Весь вечер друзья не могли сказать друг другу ни единого слова. Только улыбались.

Чем Сибуя зарабатывает себе на жизнь, я не знаю. Но думаю, что деловые занятия его не очень веселые: как-то мельком он коснулся драмы человека, который в душе поэт, а вынужден жить финансово-бухгалтерской работой. Во всяком случае, когда в Токио появилась советская писательская делегация, да еще во главе с украинским писателем, к тому же в дни столетия со дня смерти Шевченко, Сибуя побросал все свои дела ¹.

Об участии в крестьянском движении Сибуя любил рассказать, но расспросы о трудностях жизни не вызывали в нем отклика.

— Наверно, очень мучительно оставаться в тюремной камере годы напролет с утра до вечера в одном и том же положении — сидя на пятках? — спросил я его.

Сибуя ответил:

— Мучительно.

И заговорил о другом.

Это было в те дни, когда мои товарищи уже улетели в Москву. С Сибуя мы приехали в деревню. Посевы выхоженные, чистые, вовсе без сорняков. Участки очень мелкие. Жилье разбросано: в романе одного японского писателя сказано: «Дома крестьян стояли так далеко друг от друга, что жизнь в них казалась беззвучной...»

Деревня называлась Фудзими-мура, что в переводе на русский означает: «Отсюда видно Фудзи». Но над равниной лежала непроницаемая весенняя дымка.

В доме, где родился и вырос Тэйскэ, живет его брат Хироси, крестьянин. Японский дом — циновки и электриче-

¹ В 1964 году в Токио вышла книга стихов Тэйскэ Сибуя, посвященная 150-летию со дня рождения Шевченко.



ская лампа, алтарь и радиоприемник, список поминаний и гляцевитый цветной календарь с головкой красавицы. За рисовым угощением мы составили план. Я попросил:

— Дайте мне понять, от чего ушла японская деревня и куда она придет, если порядки не изменятся.

О вчерашнем дне поведали мне родичи бывшего помещика Нисикава. За аренду земли Нисикава брал с крестьян семьдесят процентов урожая, но земля его была выкуплена во время послевоенной аграрной реформы и попала в руки богатых крестьян. Теперь в старом доме семья Нисикава торгует бутылочками с черным соевым соусом.

Сибуйа показал мне две сопряженные друг с другом вещи: во дворе — громадные амбары для риса, ныне пустые, а со стороны улицы — столбы ворот, иссеченные, изрубленные топорами крестьян в дни восстаний.

А завтрашний день деревни? Два полюса: бедные беднеют, богатые богатеют.

Сейчас в округе Намбата, где я был, в среднем на семью приходится один гектар пашни, но у бедняков эта цифра падает до одной десятой гектара и меньше. На одном полюсе я увидел пустой, шаткий, несчастный дом Тама, где, как в Японии говорят, «питаются водой». На другом полюсе — большую, прочную, деловитую усадьбу Маруяма. У кулака Маруяма — автомобиль, трактор и лошадь. Работать помогают батраки.

Я спросил:

— Если бы закон позволил, вы прикупили бы земли?

— Прикупил бы.

После аграрной реформы нельзя было иметь больше трех гектаров. Маруяма ждал отмены этого ограничения. И дождался: летом, уже после того, как я с ним говорил,



Город и деревня

правым удалось провести закон, который уничтожил препятствия на пути кулаков к обогащению. Три гектара перестали быть пределом.

Один мой японский знакомый, Гоити Мацунага, поэт, изучает проблему «Механизация сельского хозяйства и проституция». Сначала я не уяснил, какая тут связь. А потом сообразил: после нового закона кулаки скупают землю, заведут машины, и еще больший поток крестьян устремится из деревни в города — голодать, сбивать цену на труд.

И разуверяться в красоте и справедливости.



К. Когда я из поездки по Японии возвращалась в Токио, в вагоне рассматривала цветные открытки с видами городов Киото, Нара, Никко. Снова ожили храмы, пагоды, дворцы, замки, домики для чайной церемонии. И всюду, связанный с ними, мягкий, с тонким рисунком пейзаж: легкая, нежная цепь гор, реки с мостиками, лес, необыкновенные парки.

Вот Нара. Весна. Розово-лиловые глицинии и ярко-зеленая хвоя у алого храма Касуга-дзиндзя... В апреле как раз такой предстала бы перед тобой Нара, если бы ты туда заехал. И водопад в Никко не был бы замерзшим.

М. Увы!.. Но тебя эти виды что-то не очень успокоили.

К. А вот октябрь. На фоне «осенней парчи природы» в парке Киото стоит птица цуру, поджав ногу...

М. Все-таки не верю, что твои мысли в вагоне были целиком заняты красотами.

К. Да, ты прав... Не только смотрела картинки, но и дописывала дневник — и все застилалось тревожными дальнорзоркими глазами Тиёко, скорбным, безнадежным жестом Сатаро. Старые кварталы исконно японских городов, не тронутые войной и как бы испокон веков застывшие в своем облике, неожиданно обернулись современностью. В Киото я думала о жизни японки. Нара взволновала судьбой молодежи. В Никко открылась древняя черта японского характера — страсть к красоте, но сегодняшний трудный день Японии заставлял думать и о другом.

Поезд летит в Токио, я смотрю в окно, мимо пронесится Япония, ее города и селения...

Когда мы собирались с тобой в Японию, привыкли к мысли: ни в чем, может быть, не проявился японский гений с такой силой, как в архитектуре. Я знала, что есть особый японский стиль. Для него характерна уникальная деревянная конструкция — угольные поддерживающие столбы, стены в виде раздвижных перегородок, крутая крыша, чтобы скатывался дождь, свесы против яркого солнца, отсутствие раскраски. И, приехав, такие дома мы увидели. Поразила простота прямых линий, геометрическая ясность, естественность, графическая выразительность. И слитность с природой. Раскрытые стены впустили лес и небо. Японец внес в комнату цветущее деревцо.

М. Да, изумительная красота. Но думала ли ты, рассматривая домики, как зимой в них холодно? Я получил письмо из Симоносеки от доктора Мива, написанное 27 ноября. В конце сказано: «В Японии холодно. Уж лучше я закрою свое перо...»



К. Мне кажется, ты говоришь со мной не без коварства. Не думаешь ли, что я начну сегодня без оговорок защищать старую традиционную архитектуру?

Я видела, как милы эти японские домики, но и знала, что чрезвычайно удобные, «функциональные» для лета, они неудобны для зимы. Люди не защищены от ветра и холода. Мороз пробирает до костей. Женщина у лавки в Осака, помню, горевала:

— Самая большая мечта — купить теплый платок.

Японские дома слишком легки для зимы. Но если народ их создал такими, значит, есть этому какое-то объяснение и оправдание?..



Когда я в поезде пересекала Японию, строения и пейзаж воспринимались как единое целое. Но ближе к Токио я увидела богатые виллы — и единство пейзажа и строений для меня исчезло. Таких вилл много и около Хиросимы, когда едешь к острову Миядзима. Знакомый стиль: двухэтажные коттеджи, как будто перенесенные с загородных автострад Европы и Америки. Там все предусмотрено — современное отопление и кондиционированный воздух. Подумали, наверно, и о том, чтобы не было пожара, и даже вспомнили о землетрясении... Но не вяжется этот стиль с обликом японской земли и с душой японца. Почему комфорт инородный? Разве нельзя внести современный комфорт в национальную архитектуру? Я не говорю, что ни на минуту не забываешь, кто живет в этих виллах... И в то же время думаешь: как смеешь вмешиваться со своими вкусами, которые сложились далеко от Японии? Вот какие мысли были у меня, когда поезд пришел в Токио...

Все не успевала спросить — какое впечатление произвел на тебя вид этого города? Его архитектура?

М. Как сказать о впечатлении? Сравнить облик Токио с обликом других городов? Город Восточной Азии плюс город Запада, включая город Голландии...

К. Почему Голландии?

М. Запад — это деловые кварталы Маруноути, в середине города между вокзалом и площадью, что перед императорским дворцом. Они построены еще до войны и в общем сохранились. Не небоскребы, но большие многоэтажные здания с подчеркнутой капиталистической помпезностью, — по-видимому, при восстановлении были усилены черты современности. В доме с тяжелыми колоннами был штаб Макартура.

Японцы называют многоэтажные строения английским словом «билдинг». Пильняк писал «былдинг». В применении к этим сооружениям чужое слово звучит естественно, особенно в провинциальных городах, из которых сейчас каждый заводит себе «билдинги» посреди приземистых японских кварталов. Обычная картина — когда подъезжаешь к городу, видишь, как над морем низких крыш торчат эти махины или возводятся стальные каркасы для них. Конечно, «билдинг». Иначе не скажешь. Слово «билдинг» японцы часто вводят и в адрес. Например, в адрес токийской судостроительной фирмы Иино, где я был, входит: «билдинг Иино».

Так вот, в центре Токио — билдинги. Их, наверно, около ста. Машины для мойки тротуара. У тяжелых дверей — золотые дощечки с названием конторы или банка, причем не только иероглифами, но и непременно по-английски.

Это американско-европейский Запад. А остальная часть города — Восточная Азия с отдельными вкраплениями Запада.



Мелкие двухэтажные дома, внизу лавчонки, обилие вывесок с иероглифами, вертикальные линии бесчисленных телеграфных столбов, на тротуаре, если он есть, суета, на мостовой велосипедисты...

К. Как же облик старой Восточной Азии, когда Токио, кроме Маруноути, во время войны весь выгорел и построен заново?

М. А вот именно потому я и сказал: Голландия. Но едва ли ты со мной согласишься. Облик улиц восточноазиатский, но, мне показалось, появилось и что-то голландское. Правда, дома без готического щипца под скатами крыши и тем более без крюка, торчащего с чердака, но двухэтажные, тесно прижатые друг к другу, в виде узкого прямоугольника, часто с одним лишь окном на этаже, но с окном по-голландски широким. И такая же белая рама без переплетов. Фактура стены, если издали смотреть, гладкая, а вблизи — шершавая. Наверно, каменная крошка с бетоном. Так, на мой взгляд, современный Токио¹.

Город расплодился чрезвычайно: одиннадцать миллионов жителей! Более десяти процентов населения страны — нигде, кажется, кроме стран Латинской Америки, нет такого разрастания столицы, как в Японии.

Постепенно и незаметно город переходит в пригород: одноэтажные домики в зелени небольших садов и огородов.

К. Хорошо, когда есть сады. А вот на окраине Осака садов мало. Нагромождены лачуги. Так же и в токийском районе Адзуматё. Домики-бараки лепятся и ползут до бесконеч-

¹ К Олимпийским играм 1964 года в Токио многое построили и обновили, провели большие магистрали.



ности. Грязные канавы, теснейшие переулки. Все так ветхо, что при ветре готово обрушиться. Зимой выглядит, конечно, страшнее, чем весной. Темно, мрачно. Стоит невыносимый запах. Японскую нищету прежде всего улавливает обоняние. Тут и лавчонки и жилье вместе. Несколько семей спят, занимая весь пол. Днем что-то мастерят, стучат, лепят, шьют. Ремесленники и безработные.

Дети, полуголые в холодный день, резвились, подбирая связанную веревочками яркую коробку. На одном бараке, сплошь набитом детьми, у двери висела дощечка с иероглифами. Мне перевели: «В этом доме нет детей». Так суеверные японцы отгоняют злых духов: боятся страшной болезни — полиомиелита.

Оттуда и доехать до «города» не так просто. Служащие и рабочие тратят массу времени на дорогу.

М. Многие японские интеллигенты тоже живут далеко и в старых домиках. Сколькo я ни ездил в гости, почти всегда попадал в полугородскую, полусельскую часть Токио.

Легко нам рассуждать о типах расселения, а ведь это распознание города ложится на людей тяжелейшим бременем. Расход на переезды — одна из главных статей семейного бюджета, и без того невмоготу перегруженного. К. Я замечала: перед простым японцем всегда стоит проблема — поехать ли на метро или на трамвае.

М. Ясно, почему приходится колебаться: метро — вдвое дороже. Но полагаю, что люди с низким заработком — а таких подавляющее большинство — не колеблются. Просто садятся в трамвай.

К. Хочу возвратиться к облику Токио. Итак, замечание не очень оригинальное, но ничего не поделаешь: мне кажется, город теряет национальный вид. И это жаль.



**Не забыто
ли старое
искусство!**

Тебя не удивили новые дома в Токио? Разве они японские? Это же европейские и американские дома. Здание телеграфного управления, например, или дом газеты «Асаки»? Как будто их перевезли из Вены или Лос-Анжелоса. Разве ты не вспомнил Корбюзье, когда смотрел на многие здания столицы Японии? На Токийский гольфклуб, гостиницы, больницы? А японский парламент — японское ли это здание?

М. По-моему, здание чужое. Как посмотрел на японский парламент, так сразу понял: в центральной его части со ступенчатым пирамидальным куполом приглашенные немецкие архитекторы тупо повторили Галикарнасскую гробницу Мавсола, от которой, между прочим, и пошло слово «мавзолей». Одно из «семи чудес света» античной древности.

К. Неужели в чуждом надо забывать свое прекрасное старое?

Возможно, я ошибаюсь. Понять все направления в японской архитектуре, думаю, нам не под силу. Ведь и сами специалисты еще много спорят.

М. Я, как и ты, едва ли вправе рассуждать по такому специальному вопросу, как архитектура. Но ведь здания и города — постоянно на глазах у всех людей. Больше того, нам же, не знатокам в зодчестве, простым людям, приходится в них жить. Так что без своего мнения не обойтись.

О маленьких домиках японского стиля я думаю так. Конечно, хотелось бы, чтобы сохранились их прекрасные, неповторимые формы. Но зимний холод? А пожары? От жаровен-хибати сразу выгорают целые кварталы. Положим, современное отопление можно наладить, но все выдует через раздвижные бумажные стенки, которые летом незаме-

нимы, а зимой в тягость. Прежде чем эти раздвижные стенки оставить, их нужно реконструировать. Если это возможно, японский стиль сохранится. Уверен, что возможно. И это отчасти уже достигнуто. Пока не в массовом масштабе. И я с тобой согласен — при мелком строительстве не следует копировать виллы с автострад Америки. Не та природа, не тот пейзаж, не те люди.

Молодой строитель и архитектор Сидзуо Танака говорил мне в городе Фукуока:

— Передовая молодежь против подражаний в архитектуре. Старое зодчество соответствует не только традициям, но и многим чертам своенравной японской природы. Это надо учитывать. Надо возродить то хорошее, что было в дереве, и отразить в бетоне.

К. С последней его мыслью нельзя согласиться. Мне кажется, что хорошо для дерева, то не годится для бетона.

М. Да, в этом он ошибается. Но в целом прав. Японский стиль небольших домов и сегодня, как мне кажется, можно сохранить.

Но как быть с многоэтажным строительством, неизвестным старой Японии, но необходимым? Сейчас Япония строит деловые здания и большие жилые дома¹. В каком стиле их возводить? Искать небывалый в истории японский образ многоэтажного дома?

К. Почему небывалый? А многоэтажные замки? Я уже говорила, что видела замок в Осака — там восемь внутренних этажей.

¹ В 1964 году в Токио сооружен отель «Отани» в 17 этажей. Таким образом нарушен закон, запрещавший из-за боязни землетрясений возводить здания выше 10 этажей.

М. Тебе же первой покажется диким универсальный магазин в виде феодального замка. Вот примерно в таком духе сооружен театр Кабуки в Токио. Признавайся — нравится?

К. Не нравится... Что-то японское в нем, конечно, есть. Ребристые крыши со скатом, свесы, большие окна. Но фасад загроможден, балконы слишком тяжелы, чувствуется избыток витиеватых линий — «вавилонов», как говорят наши плотники.

Те японцы, с которыми я разговаривала, не признают это здание настоящим японским, считают ложным:

— Лучше коробка из бетона и стекла, чем дом Кабуки.

Им, между прочим, также не по душе замысловатые, вычурные строения в Никко.

М. Мне тоже «японское барокко» не нравится. Как мы говорим — «излишества». Они пришли сюда вместе с буддизмом. То ли дело стиль японского дома — простой, строгий, экономный, прекрасный! Сибуй!

К. Но все-таки как же быть в Японии с многоэтажными домами?

М. А я люблю эти современные «коробки» из бетона и стекла, с алюминием, пластмассами, акустическими плитками. Громадные, смелые, стройные, светлые, ритмичные. Лишенные всяких прикрас, но вдохновенные, дышащие сегодняшним днем индустрии. Почему их называют американскими? Они всюду хороши.

К. Именно в этом их недостаток. У них в облике нет японского.

М. Внутри — многое от японского стиля: широкие раздвижные окна, простота планировки, отсутствие лишней мебе-

ли... Как раз у японцев взяла эти черты интерьера современная архитектура других стран, включая Америку.

К. Это — внутри. А снаружи? Что японского во внешнем облике этих зданий? Ведь стоят-то они в Японии. Рядом с Фудзи!

М. Рядом с Фудзи. Да... Именно в этом загвоздка, которую я не в силах преодолеть. Мне не ясно. С одной стороны, думаешь: если в многоэтажном доме функционально, то есть по самой сути дела, не нужны японские элементы, вроде, скажем, черепичных крыш,— зачем вносить их искусственно? Как, например, внес американский архитектор Райт в еще до войны построенное здание отеля «Империял» около парка Хибия. Получилось, в сущности, то же, что у Шервуда с нашим Историческим музеем: не русский стиль, а «стиль рюсс». И как «кремлевские» шпили наших высотных зданий, притянутые за волосы... Но, с другой стороны, японские элементы, хотя бы функционально и лишние, вызываются к жизни образом Японии, японским пейзажем... Для меня это трудный вопрос. Он касается не только Японии и не только архитектуры.

Недавно рядом со старым зданием отеля «Империял» воздвигнуто новое, огромное, современное. Так я и не знаю, теряет ли оно от отсутствия японских элементов? Никаких черепиц. Красивая утилитарность, высокая индустриальность.

С одной стороны, меня пугают ложные прикрасы под японский стиль на доме Кабуки или в старом «Империяле» Райта, а с другой — беспокоит полное отсутствие у новых билдингов видимой связи, как ты сказала, «с горою Фудзи»...

К. Между прочим, Константин Симонов нашел подобие

между прогибом склонов Фудзи и прогибом японских крыш.

М. Меткий глаз! Но прогнутая крыша пришла в Японию с материка Азии. Она существовала там, не зная о Фудзи.

Я уже давно думаю: откуда взялся этот мягкий прогиб у крыш Восточной Азии? Олесь Гончар при мне высказал остроумную догадку: из прогиба древнего шатра.

Но ведь шатры были не только в Восточной Азии. Мне японцы говорили, что главное в их стиле не прогиб крыши, а добытый народными мастерами способ балочных конструкций, дающий устойчивость при землетрясениях. И еще: жилье должно сливаться с природой.

Я видела в Хиросиме широкое здание библиотеки для детей, построенное известным современным японским архитектором Кендзо Тангэ. Через стеклянные стены оно как бы раскрывается, сливаясь с парком Мира, с окружающим пейзажем. Вот это, мне кажется, истинно японское. И другая библиотека того же Тангэ, в Токио: прозрачное; изящное здание среди сосен.

М. Все это интересно, талантливо, но весьма неопределенно. Споры и поиски. В том же парке Мира стоит музей Мира — длинный ящик на столбах. Может быть, это и не плохо, но японского в нем я не вижу. Скорее напомнило мне музей художника Леже во Франции, в Биоте. А ведь строил тот же Кендзо Тангэ.

К. Вот я и говорю: японские города начинают терять национальный облик, а ведь этого могло бы не быть! Наверно, у здания, построенного в Японии, должны и могут быть не поверхностные, декоративные японские черты, а более глубокие, существенные. Можно было бы сохранить и

скромную строгость, и изящную мягкость, и умелую сдержанность, и связь с природой...

Ведь японцы такие мастера всего достигать в искусстве минимальными средствами.

М. Это верно. Так повесят в доме пейзаж, что уже живешь не в четырех стенах, а в стране Япония...

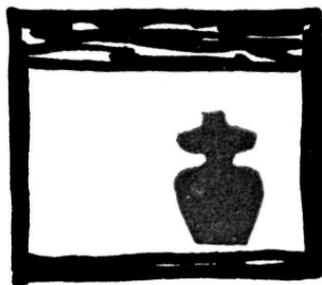
К. Мне нравилось, что в японском доме обычно висит только одна картина. Только одна!

Как и все люди, я люблю старых мастеров Японии. Гравюры Утамаро, например. Может быть, потому именно Утамаро да еще Хокусаи и Хирогисе, что мы их знаем лучше, чем других японских художников.

Гравюры Утамаро — это девочка за спиной у матери, играющая на сямисэне молодая девушка, жена за чайной церемонией или мать с ребенком, гейша, куртизанка, танцовщица и, наконец, милая японская старушка.

Женщина Утамаро стилизована, приукрашена. Говорят, что он, невысокий малым ростом японок, удлинял их в рисунке, делал выше и стройнее.

Изображение японки всегда гармонировало с архитектурой, с приро-



дой за окном, с букетом на бамбуковой подставке. В этом проявлялся японский вкус.

Токийский доктор Ито — высокий, с гладким матовым лицом, с выхоленными сильными руками хирурга — неожиданно приобщил меня к пониманию японской живописи. Главное, чего он достиг, — показал, что в ней все сложно.

В больнице висела картина Хокусаи «Мост обезьян». Ито так объяснил:

— Прозрачное пространство, далекие скалы — это весь мир. Туда надо стремиться всю жизнь. Сосна на переднем плане — близка, ее можно тронуть, погладить. Это надо делать каждый день. На огромной высоте по мосту — он шатается от ветра — идут японцы. Смотрите, какой страшный большой мир! А человек кажется совсем маленьким. Хокусаи хочет сказать нам: человек сильный! Он идет в большой мир от своей сосны.

Интересно Ито говорил о «Фудзи в ясную погоду». Действительно, эта картина Хокусаи будет жить вечно. Фудзи возвышается величественно на фоне голубого неба, склоны освещены солнечным алым светом, опоясаны внизу зеленым лесом. Чуть прогнутый конус этой горы можно встретить всюду-

Ал. Первое, что я увидел, войдя в свой номер токийского отеля, — «Фудзи» Хокусаи на стене. Хитрые держатели гостиниц отлично знают, что нравится европейцам.

К. Именно в самой Японии я как-то особенно оценила пейзажи Хокусаи. Увидела остроту зрения, богатство оттенков, философское настроение. Утесы, скалы, порыв ветра раскрывают величие мира. Все это дает искусная живая линия. То она рвется, то плавно или бурно, зигзагами, движется...



**Бессмерт-
ный
Хокусаи**

В Японии Хокусаи любят и как человека. Рассказывают о Хокусаи разные легенды. Читали мне бодрые слова, как будто им сказанные: «С шести лет мной овладела страсть рисовать все предметы. В 50 лет я выпустил значительное количество произведений всякого рода, но ни одно из них не удовлетворило меня. Настоящая работа началась к 70 годам. Настоящее понимание природы пробуждается во мне теперь, в 75 лет, поэтому я надеюсь, что в 80 лет я достигну известной силы проникновения, которая будет развиваться далее до моих 90 лет, и в 100 лет я смогу гордо заявить, что мое понимание совершенно художественно. И если бы мне было суждено прожить 110 лет, я надеюсь, что жизненное и правдивое понимание природы будет сиять из каждой моей линии и точки».

М. Хокусаи дожил до 89 лет. Иногда я думаю: ведь пейзаж Японии за столетие после смерти Хокусаи сильно изменился. Почему же живы для нас серии его пейзажей? «36 видов Фудзи», «100 видов Фудзи», «Мосты», «Путешествие по стране водопадов»... Ведь уже не из бревен воздвигают теперь в Японии мосты, а из стальных ферм. Вольные водопады отдали свою силу гидростанциям. Электрические поезда и разноцветные лимузины бегут вокруг Фудзи... А Хокусаи все жив. Почему?

К. Думаю, потому он жив, что истинный предмет для великих пейзажистов — не вид страны, а отношение человека к ней. В этом-то национальный дух и проявляется.

Вспомни картину «Америка» Рокуэлла Кента. Избушка в горах, семья переселенцев, мужчина широко размахнулся топором — рубит дерево. Ведь это не столько пейзаж Дальнего Запада, сколько воспоминание о предприимчивости американских пионеров.

М. Наверно, так и с Хокусаи. В его гравюрах есть нечто, что их соотносит с японской современностью... Мне кажется, это всегда присущий японцам эстетизм, тяга к любованию своей страной и ее природой. В пейзажах Хокусаи, с их грандиозной композицией, с деталями, свободно, но скупко отобранными, — совершенный вкус, острейшая чувствительность, утонченное восхищение. И второе — демократизм. Опора на народ, пренебрежение к правилам феодального искусства, позиция обыденного труда. Среди криптомерий, под конусом вулкана, в струйках дождя художник видит рыбака с сетями, крестьянина за жатвой, носильщика с грузом, ремесленника, плетущего корзину.

К. А ты рассмотри заново гравюру Хиросиге «Снегопад». Ее можно повесить в любой современной квартире всего земного шара. Смелые линии, почти космический покой, тишина пространства, ощущение холода, ритмичный звон сосулек. И опять идет по этому ледяному простору среди опасностей храбрый человек.

Теперь будь внимательнее. Я продолжу рассказ о докторе Ито.

Он приносит в палаты выздоравливающим после операций картины старых мастеров. В папке у него для этого сложены гравюры Харунобу, как он сказал, «с нежными девушками и динамическим настроением».

М. Может быть, этот доктор ценит только старину?

К. О, ты увидишь! Наоборот... Читает хирургические журналы многих стран. Делает тонкие операции. Разбирается в биохимии. О работе одного художника-модерниста, которую *мы* с ним вместе смотрели, сказал, мне показалось, профессионально:

— Нет цветовой гармонии, нет рисунка, нет мысли и на-

строения. Малограмотно, убого. Иногда мелькает экспрессия, удачный лаконизм, смелая контрастность, а в общем не находите ли, что это примитивно, слишком аскетично, даже мрачновато?

Со смехом рассказал мне об одном, как он выразился, «клиническом случае»:

— Жители Токио однажды были поражены. Подходили, смотрели. Молодой абстракционист Усио Синохара расклеивал холст на бетонной стене около стадиона. Рядом ставил ведра с краской — фиолетовой, желтой, красной, голубой, зеленой. Этот «художник действия», как он себя называет, обмакивал голову в краску, двигался вдоль стены и наносил, подобно боксеру или футболисту, удары головой о стенку. Получались яркие цветные пятна...

Теперь я хочу тебя спросить — мог ли мой японский товарищ повесить в своем доме какую-нибудь формалистическую «Любовь» Сигэру Ода или «Шествие кошек» Томоо Инагаки — картину из скелетов и голодных глаз?

М. После того, что я услышал о нем, — нет.

К. И я так думала. Перед самым прощанием Ито, немного помявшись, признался, что рисует сам. Я, естественно, обрадовалась. Он вернулся в кабинет и вынес квадратную сделанную в гуаши картину. Много густо пересеченных узких разноцветных линий в центре. Все пронизывая, вкось проходит голубая полоса. Внизу спутанный клубок темно-серых зигзагов.

Думаю: рисунок для клеенки?

Спрашиваю:

— Что такое?

Ответ:

— Выздоровление.



Опешила. Ито быстро объяснил:

— Я хотел выразить идею радости человека, избежавшего смерти. Голубое — это счастье, как небо. Розовые и желтые линии — восторг победоносной борьбы с болезнью. Внизу — тяжелые воспоминания о кошмарном недуге...

Вот такая неожиданность в японце. Любовь к классике и такая ультрасовременность!

М. В Японии это удивительно уживается... Но странная вещь. В модернистские картины я упирался всюду — в столичных магазинах, в гостиницах, на вокзалах. Можно было подумать, что увлечение всеобщее. А вот в домах не видел.

К. Не потому ли, что ты не был в гостях у богатых людей, которые боятся отстать от века? В домах у средних японских интеллигентов я абстракций тоже не видела. Тем более Ито удивил меня.

Все-таки трудно мне понять — зачем японцу идти в магазин на Гиндзу или в новую модную мастерскую, когда у него есть любимый пейзаж «Зима» Сессю, написанный «ломаной тушью».

Вся семья часами может любоваться игрой линий, которые превращаются в очертания гор, в ветви сосны, в изогнутый берег...

М. Нельзя же так увлекаться... Критикуя абстракции, ты унеслась в Сессю, в пятнадцатый век.

К. Нет, ты меня не понимаешь. Я ведь за смелые, яркие современные линии — они отражают новую мысль и сильное чувство. Но я против уродства. Видела, как японцы ходят по модным выставкам и покупают бог знает что! Вот и вспомнишь Сессю. Ты, наверно, не был в Токио на абстрактных выставках.

М. Нет, почему же, я был. В парк Уэно на выставку «Весна — солнце» меня водил художник Токи Окамото.

К. Окамото? Знаю его по московским выставкам. Он любит на холсте подписываться «Токи». Помню его картину «Дети играют в бадминтон» — девочка в синем и девочка в красном, в руках ракетки, летает шарик, а на заднем фоне дымит завод.

М. Реалист, почитатель Федотова и Иогансона, человек сосредоточенный, молчаливый и замкнутый. Но замкнутость не мешала ему быть откровенным...

Как подобает японцу, Окамото держался очень тактично, не пытался влиять. Я на его глазах терпеливо рассматривал самые жуткие абстракции. Мне показалось, что по дерзости, по колориту они уступают западноевропейским, но у многих из них есть одно смягчающее вину обстоятельство: японцы не всегда дают своим беспредметным картинам предметные названия, а чаще пишут просто: «композиция». Поэтому не ищешь смысла, которого нет, — как его нет в бесформенной «Работе» Ёсиэ Комацу.

К. От этого тебе легче?

М. Конечно, легче. Представь себе, что ты пришла в магазин обоев, — никаких претензий на многозначительность, только сочетание линий и красок.

В Японии всегда было принято рисовать не столько с натуры, сколько по памяти и воображению. Я видел, как эта старая традиция в сочетании с новейшими веяниями преломляется у японских детей.

Мы ехали по дороге у побережья Японского моря — и в одном из селений, оно называется Иосима, попросили остановиться у деревянной одноэтажной школы. Сняв башмаки, зашли в нее.

Нас ввели в класс, где шел урок рисования. С натуры здесь, кажется, не рисуют. Одиннадцатилетние мальчики и девочки трудились над заданной темой: «Моя мечта». У них получались многокрасочные, яркие «композиции». Пестрые квадраты, круги и клинья. И среди них — образ мечты, заветные желания...

К. Это была победа абстракции?

М. Представь — это было ее опровержение. Это была победа жизни. Победа добра и мира.

На рисунках детей в далекой, случайно попавшейся японской сельской школе мы не нашли ни пушек, ни военных самолетов, ни линкоров. Зато увидели космические корабли. Космические корабли среди пестрых квадратов, кругов и клиньев. И на одних кораблях — японский красный круг: мечта. А на других — молот и серп: действительность. Это было через неделю после полета Гагарина.

К. Мне кажется, у японцев есть любовь к символике, переносному смыслу и отвлеченности.

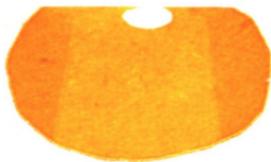
М. Разумеется, почти повальное увлечение японских художников абстракционизмом есть мода, пришедшая с Запада. Но ты права — у японца есть склонность к иносказательности. Элементы беспредметного, асимметричного, неожиданно смелого декоратизма есть в старом народном японском прикладном искусстве. Я думал об этом, когда в музеях и замках разглядывал старую посуду. Какой-нибудь кувшин — и на нем скупое, яркое, логически необъяснимое, даже как будто случайное, но многозначительное цветное пятно. И — красиво.

К. Мне очень нравится та глиняная чашка, которую подарил тебе врач Ютака Мива в Симоносеки.

М. Он сам обжигает в небольшой печи во дворе.



**Серп и
молот в
японской
школе**



К. Грубый, тяжелый буро-красный стакан, или, лучше, сосуд, с вмятиной, будто нечаянной, но такой уместной, такой свободной, — прекрасно! Тоже сибуй!

М. Мива особенно любит ваять и обжигать фигурки японского водяного — «каппа» — что-то вроде хамелеона с лягушечьими лапками. Объяснил почему:

— Хочу быть таким, как каппа. Каппа всегда говорит правду и полон юмора.

К. Судя по письмам, скульптор этого добился.

М. В Кагосима мы были в керамической мастерской. Изделия простые и вместе с тем смелые, лишённые всякой банальности.

Мастер обжига вынул из печи изумительную вазочку и попросил сделать на ней краской надпись на память.

Его просьба была исполнена: «Привет от Гончара из Киева гончару из Кагосимы»...

Скажи, в современном японском искусстве так-таки ничто на себе твой взгляд и не остановило? К. Одна скульптурная японская вещь, похожая на деталь космиче-



Керамика

ского корабля, мне понравилась. Небольшое сооружение из стали или пластмассы. Устремленные в пространство ровные плоскости. Много плоскостей. Скульптор Касаги. Что-то конструктивное, геометрическое, даже архитектурное. Любопытно было рассматривать перекрещивающиеся линии...

М. А все-таки ищешь смысла! И в «композициях» не находишь. Хочешь смысла... Но — сегодняшнего.

К. Я отобрала себе репродукции некоторых современных художников. Это главным образом цветы: бело-сиреневые колокольчики Эйдзо Като, розовые и голубые ирисы у воды Дайдзи Хамада, куст сливы с белыми и ярко-красными цветами Сейсон Маэда. Здесь есть и подражание старым мастерам, и давняя любовь к цветку, но искусство свежее, современное. Тонкость рисунка, хрупкость и нежность тонов, музыкальность — и при этом смелость.

И еще замечательная цветная гравюра на дереве Кихатино Симосава — «Зима в окне». Далекая перспектива гор. Пустынность. Людей нет. Но по покою жилой комнаты, краскам вазы и пола чувствуешь настроение человека.

М. Цветы и пейзаж — это хорошо. Но хочешь смысла сегодняшнего. Гравюрами Хокусаи я, как ты видела, восхищался. Теперь я хочу другого. Нужно увидеть Фудзи не в «ясную погоду», а в бурю.

К. Современный художник Кихэй Сасадзима, видно, стремился к этому. Его «Вид Фудзи на окраине города» выражает тоску и гнев. Фудзи — мрачна. У подножия прокопченные заводские трубы. Серые трущобы. Земля вздыблена. Изгородь с острыми колючими на первом плане.

Ты не встречался с художником-коммунистом Кэндзи Судзуки? В Японии я о нем ничего не слышала. Там он не-



**Современная
Фудзи**

известен, картины его никто не покупает. Судзуки открыли у нас.

М. В Японии я тоже о нем не слышал. А у нас видел его гравюры и среди них «Верните жизнь моему ребенку!» Женщина заломила в страстном отчаянии руки, видны летящие самолеты. Один черный тон. Чем-то похоже на нашего Пророкова. Очень сильно.

К. Я слышала, что этот художник нуждается, почти бедствует. У нас в Москве он впервые в жизни смог купить себе часы. А ведь настоящий мастер!

М. Прогрессивный, мыслящий художник в Японии не имеет заработка. Окамото сказал мне:

— Когда-то я был футуристом, потом дадаистом. Но теперь считаю, что только реализм может бороться с капитализмом...

После абстрактной выставки отвез меня в свою мастерскую. Я увидел холст на мольберте, букетик ландышей на столе — и картины: каменотесы в глубоком карьере, коммунист перед судом. Тут же висела картина «Дети играют в бадминтон» — не знаю, копия или подлинник, который ты видела в Москве. Картину эту Окамото пояснил мне так:

— Дети играют в новогоднюю игру на фоне завода около Кобе, где я родился. Шарик с перьями ударяется о дощечки. Я слышу мир в этом звуке. Новый год!

Я спросил художника: покупаются ли его картины, чем он живет? Окамото ответил:

— Моя жена работает продавщицей в аптеке.

К. А сколько перестрадали Ири и Тосико Маруки. И сейчас еще у них жизнь полна борьбы.

Муж и жена Маруки до трагической гибели своего города Хиросимы писали в манере сюрреалистов. Два года



после взрыва они не могли взяться за кисть: когда упала бомба, потеряли родных и близких, сами спасали людей, тушили пожар, носили трупы.

Живые картины стояли перед глазами. Эти призраки призывали к протесту, кричали, требовали избавить от ужаса войны.

Художники стали писать свои панно «Хиросима». Шесть лет работы. Здесь есть и традиции мирового искусства: вспоминаешь Гойю. И национальные японские черты: думаешь о старинной гравюре.

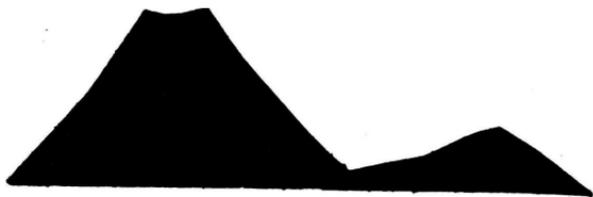
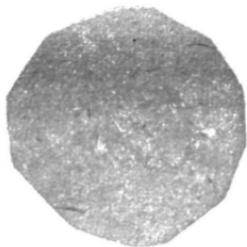
Нельзя забыть двух обнявшихся девочек среди груды обгоревших трупов. Чисты и невинны, а страх в их душах чудовищен!

М. Я слышал, что эти панно, выполненные черной тушью на огромных кусках японской бумаги, будут выставлены на холме в Хиросиме в назидание народам.

К. Совсем недавно мне попала японская детская книжка — иллюстрации Маруки. Живые, веселые японские дети. Они смеются и играют на всех страницах.



ПОЭЗИЯ
И
ПРАВДА





К. Я ездила по Японии, и прежние мои представления о ней, порожденные книгами, изменялись и рушились. Японскую классику, которую я знала еще до поездки, загородил сегодняшний день с его заботами и бедами.

После возвращения в Москву я взялась читать уже не классическую, а современную японскую литературу. И ощущение неблагополучия обострилось.

Возьми хотя бы современную японскую поэзию. Разве ее можно сравнить с классическими стихотворениями в пять строк и в три строки — со знаменитыми «танка» и «хокку»? Кто сейчас может показать драгоценные грани японской природы, красоту времен года на островах, особое настроение японца, влюбленного в свою землю, как мог средневековый Басё?



**Японские
трехстишья**

У Басё проникновенное слияние человека с природой, а также любовь, признательность к нему:

Увидел я раньше всего
В лучах рассвета лицо рыбака,
А после — цветущий мак.

В классической японской поэзии — миниатюрность и значительность. И близость к живописи. В словах Бусона видна цветная гравюра:

Льется весенний дождь!
По пути беседуют
Зонтик и мино.

Мино — крестьянский плащ из соломы.
М. Скорее это легкая штриховая графика. А цветная гравюра вот — у Рансэцу:

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

Не только вижу, но и слышу:

Сквозь урагана рев,
Когда дрожит вся кровля, —
Цикады тихий звон...

К. Знаю, это Рию. А вот Исса — звучит, как грустная музыкальная фраза:

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...

Не хуже Омара Хайяма. Удивительно у японцев человеческое раскрывается через вещь, через внешнюю деталь. У Ранрана например:

Осенний дождь во мгле!
Нет, не ко мне, к соседу
Зонт прошелестел.

Какая вера в читателя! Расчет на то, что японский читатель — на той же поэтической высоте, что и автор. Вот еще пример из Басё:

Едва-едва добрел,
Усталый, до ночлега...
И вдруг — глициний цвет!

М. А это у него, пожалуй, еще лучше:

За колосок ячменя
Я схватился, ища опоры...
Как труден разлуки миг!

Русская женщина, Вера Николаевна Маркова, прочитала чужие иероглифы, где-то у себя в душе отыскала слова — и мы почувствовали тонкого, изысканного японца... Великая тайна.

К. Какая сжатость! Мы такой не знаем.

М. Конечно, «хокку» у нас нет. Но старая русская песня своему тоже лапидарна — это особенно видно, когда вникаешь в смысл ее слов. Разве благородная простота, даже скупость белой стены древнего псковского храма уступает простоте японского дома?

К. В старых «хокку» не только простота сжатости, но и глубина мысли. Трехстишие Кёрая написано в семнадцатом веке, но это вечная современность:

Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч¹

М. Как раз это стихотворение я привел на одном собрании в Токио, — в то время действительно цвели вишни. И еще другое, поэта Исса:

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

Японцы обрадовались — и я сделал вывод, что японская классическая поэзия жива, ее знают, любят.

Да и наш читатель ее ценит. Иначе сборник «Японская поэзия» не разошелся бы чуть ли не за один день.

В Японии классическая поэзия живет потому, что в этой стране почти все — поэты. Точнее: чуть ли не все пишут стихи. Кто как может — и хорошо, и плохо. Литературных журналов издается бесчисленное множество — как составится кружок посильнее, так сейчас же начинает издавать журнал за свой счет.

К. От вас стихов не требовали?

М. Еще как. Нам приходилось краснеть. Корреспонденты газет хотели, чтобы мы давали интервью в стихах. Они не в силах были понять: называемся писателями, а отвечать стихами не умеем.



Твои коллеги врачи тоже стихослагатели. В Омута мы зашли посмотреть больницу. Сдали в окошечко ботинки, надели белые халаты, входим к главному врачу — он вынимает из кармана визитную карточку, немедленно сочиняет для нас и тут же иероглифами пишет на карточке стихи о том, как прекрасна весна на острове Кюсю, куда прибыли дорогие гости.

Я уже говорил, что у врача-микробиолога Ютака Мива во дворе маленькая печь, где он для собственного удовольствия обжигает из глины посуду и статуэтки. В час выдачи обжига к Мива собираются друзья — медики. И в особой книге записывают «хокку», сочиняемые к данному случаю.

К. Прочитай сейчас письмо с вулкана Асо, это кстати.

М. На вулкан Асо нас провожала из города Кумамото девушка-гид. Она служит в автобусной компании. В современном строгом бледно-зеленом платье, в белых перчатках и белых туфельках, с черными локонами, зачесанными по моде на один бок, с тоненькой цепочкой медальона на шее, миниатюрная, с румяным, чуть плоским личиком, внимательная, скромная, застенчивая.

О таких прелестных в своей нежности и сдержанности японских девушках хорошо написал Олесь Гончар:

«Совсем юная девушка-лифтерша, забившись в угол, что-то говорит там полупшепотом, задушевно, с бесконечной ласковостью в голосе, словно объясняется любимому в своих интимнейших чувствах. А это она всего-навсего объявляет в миниатюрный микрофон:

— Третий этаж, выходите, пожалуйста... Четвертый этаж, выходите, прошу вас...»

Девушка-гид, которая везла нас к вулкану, оказалась

поэтессой, членом кружка, издающего журнал «Поэзия и правда».

К. А ведь это название — из Гёте.

М. Японцы очень любят упоминать западных авторов. Очерк нашего друга Такэси Кайко о городе Токио занимает в журнале «Иностранная литература» всего восемь страничек, но я подсчитал, сколько там неяпонских фамилий: Эйфель, Валери, Салтыков-Щедрин, Ауэрбах, Моцарт, Джеймс Дейн, Элвис Пресли, Реймонд Роули, Артур Миллер, Драйзер, Синклер, Франклин Рузвельт, Фрэнк Ллойд Райт, Сартр, Наполеон, Ли Сын Ман, Эйзенхауэр, — семнадцать.

По дороге с вулкана я попросил девушку, когда будет возможность, написать для нас и прислать стихотворение.

Вот что содержится в письме:

«Уважаемый господин Михайлов!

Вы еще помните меня, Йоко Уэно, японку? Уже три месяца прошло, как я провела очень приятный день вместе с советскими писателями на Горе по имени Асо.

Сегодня в Кумамото идет дождь с громом. От сильного дождя моя белая лилия в саду сломалась.

На возвышенной равнине Асо, наверно, тихо хмурятся луга. Над зелеными лугами поднимается дым вулкана и уходит летними облаками.

Я люблю этот красивый вид. Вот мое самое любимое стихотворение, оно написано поэтом Миёси, японцем:

Дождь идет.
С ужасающей силой
Дымится вулкан Асо.
Небо заволкли черные тучи.
Лошади щиплют траву тихо-тихо,

Сосредоточенно,
Под дождем,
Совсем мокрые...
И сто лет проходят в один миг.

Вы должны были получить мое собственное стихотворение, но я еще не исполнила обещания. У меня много работы, нет времени написать хорошие стихи. Ждите, пожалуйста, — пришлю в следующем письме.

Пожелаю Вам счастья и здоровья.

От далекой подошвы Горы Асо, Япония,

9 июля 1961 г.

Йоко Уэно»

К. Очень трогательно. Мотив японской женщины, часто почему-то грустный...

М. Ей двадцать лет, дочь садовода из окрестностей Кумамото, в семье пять или шесть детей, живет в общежитии, возит экскурсии, поет им песенки.

К. Письмо ее скорее напоминает классику... Но та современная японская поэзия со свободным размером, которую я знаю, не так поэтична.

М. Более позднее «хокку» тоже когда-то было новизной и считалось даже вульгарным по сравнению с аристократическим «танка». Да и свободный размер — не совсем новость, его давно знает японская народная песня... Существует сегодняшний день — и неизбежно должна существовать современная поэзия. Не заставляй меня говорить общеизвестное.



**Стихи
грусти
и гнева**

К. Если современником назвать Исикава Такубоку, то тогда ты прав. Он, по существу, поэт сегодняшнего дня Японии, хотя и умер в 1912 году.

Умер от чехотки таким же молодым, как наш Лермонтов. И так же настрадался. Душа измученная и революционная.

Это двадцатый век! Революционность и, несмотря на горечь переживаний, оптимизм. Понимание страшной трагедии своей родины — и при этом тихая мечтательность.

Многие пятистишья Такубоку близки классической «танка». Этим еще более подчеркивается их японский характер. Снова близость к живописи и музыке:

Сверчок звенит в траве.
Сижу один
На камне придорожном,
Смеясь и плача,
Сам с собою говорю.

М. Мне нравится другое:

Я так и вздрогнул!
Это он,
Тот незабвенный поцелуй!
Моей щеки коснулся тихо
Листок платана на лету...

Опять японская, полная смысла краткость, сила детали и глубина, послушай:

Я слишком пламенно желал
Немногого, не более того,
Что в силах человек
Сам для себя добыть...
Ошибка юности моей.

К. О том же пожалел Есенин: «Слишком мало я в юности требовал...»

М. А вот двадцатый век:

Как весело слушать
Могучий гул
Динамо-машины...
О, если б и мне
Так с людьми говорить!

Когда я увидел, как любим сегодня в Японии Исикава Такубоку, у меня от сердца отлегло. Что-нибудь да значит, если своим любимым национальным поэтом считают того, кто сказал:

Кто посмеет меня упрекнуть,
Если я поеду в Россию,
Чтобы вместе с восставшими биться
И умереть,
Сражаясь?

В первый же день на шахтах Миикэ сидим мы за обедом, как говорят, «с активом» — и каждый из нас должен произнести речь. Чувствую — что бы ни сказал, будет мелко в этом боевом городе Омута, на камнях, обрызганных кровью рабочих... И вдруг меня осенило:

— Сегодня тринадцатое апреля — годовщина смерти Такубоку. Недавно у нас на русском языке вышла книга его стихов. Псчтим память великого японца!

Поднялись и, растроганные, ответили:

— Знаете нашего Исикава Такубоку? Нет для нас большей радости.

К. Я читала кое-что переведенное у нас из сегодняшней японской поэзии. Несравнимо с Такубоку. Рыхло, расплыв-

чато, риторично. В модном свободном стихе не сдержишь себя строгим чистым чувством и ясной идеей, как в «танка» или «хокку».

В современных японских стихах мало тонкости и нет глубины чувства, недостаточно культуры и исчезла духовная сложность. Нет всего того, на чем веками воспитывался японец.

М. Ты меня ставишь в трудное положение. Противопоставляешь новую поэзию старой и ждешь, чем я докажу, что современные поэты не хуже великана Басё. Если говорить о мастерстве — не могу доказать. Но современные японцы хотят не только классической, но и современной поэзии — и они будут читать современных поэтов. Будут читать, даже постоянно попрекая их тем, что им далеко до Басё. Ведь это же ясно.

Нет осенней луны, крика кукушки... Зато появился современный язык улицы, которой и в Японии было «нечем кричать и разговаривать».

И как новые трудные проблемы вместить в три строки? Современным идеям тесно в миниатюрных рамках. Поэты говорят свободным стихом, близким к разговорной речи, но более эмоциональным.

К. Свободный стих, как ты сам сказал, не нов: вспоминаешь не только старые японские песни, но и Уитмена, Верхарна... Свободным стихом, между прочим, легко завладевают крайние модернисты. Здесь — простор для путаной, разорванной символики, истерической вычурности и сенсорной крикливости.

М. Верно. Но я говорю о той новой демократической поэзии, которая понята и принята.

Кто же, если не поэт, скажет японцам:

Принужденные жить
Под дыханием смерти...

Кто же, если не поэт, выразит надежду японцев в их борьбе с войной:

Пусть не будет изувечен
Светлый мир, что для вас рожден!

Приведу тебе строки еще из одного японского стихотворения. Его в какой-то мере можно считать современным, хотя оно и написано в двадцатых годах.

Еще до поездки в Японию я случайно узнал, что Сигэхару Накано, известный прозаик, раньше писавший стихи, почему-то мечтает достать как сувенир кавказский рог — из тех, которые применялись на застольных пирах. В Токио мы с Накано встретились. Высокий, с крупными чертами лица, с волосами еще черными... Старый и заслуженный революционер, коммунист, Накано производит впечатление серьезное, даже строгое. Весь он — сдержанность. Видно, что все в нем подчинено принципу — даже, может быть, этот скромный серый плащ, которые носят рабочие.

В Японии издано многотомное собрание сочинений Накано, но, к сожалению, на русском языке я знал только одно его стихотворение «Песня»¹.

Стихотворение, о котором я говорю, было переведено Анной Евгеньевной Глускиной. Оно как нельзя лучше слилось с образом, в котором передо мною предстал его автор:

¹ В 1964 году мы прочитали вышедший в Москве небольшой сборник стихов Сигэхару Накано «Волны Японии» в переводе Анатолия Мамонова.

боевой лозунг: «Песня — сила в борьбе за мир». Так родилось движение «Поющие голоса Японии». Ты их слышал в Миикэ.

Интересна судьба самой Акико Сэки. Она кончила Токийскую консерваторию. В двадцатых годах была известной певицей. Вместе с мужем Мико работала среди рабочих. Муж был актером и одним из руководителей «Союза пролетарской музыки». За смелость, за революционный стиль его заточили в тюрьму. Там заболел. И когда пришло освобождение, умер.

Во время войны бомбой разрушило дом Акико Сэки. Но она оказалась сильной. Преодолела все несчастья. Продолжала бороться своей песней. Организовывала все новые хоры, устраивала праздники песни в защиту мира.

«Поющие голоса» выросли, конечно, из народной песни.

Пошлость, безвкусица, слепое подражание Фоли-Бержер или американским шоу заставляют настоящих артистов Японии искать настоящее искусство.

М. Не выплесни с водой и ребенка. Это не есть борьба с весельем, со смехом, с забавой.

К. Конечно. В Японии много театральных коллективов, цель которых — борьба за свое, против наносного, чужого.

Я познакомилась с актрисой Михо Маяма. Она создала с великим трудом свою труппу. Актеров примерно сто человек. Они защищают национальное искусство, но вместе с тем борются с непонятными текстами средневековья. Живут трудно, театр их больше похож на барак. Я видела этих девушек: они держатся храбро, а поют, мне показалось, больше грустные народные песни. Японская песня отличается не только от европейской песни, но и от напевов





Народные напевы

других восточных стран. Обычно она протяжно-замедлена, меланхолически грустна, созерцательна.

Как своеобразно японцы поют! У них какая-то горловая окраска звука. Может быть, это от подражания голосам народных инструментов?

Почему-то японцы в свои любимые праздники поют больше старинные песни, а не новые. Крестьяне в поле запевают обрядовую песню при уборке риса, рыбаки поют о бурном море и трудном лове, лесорубы — о пиле и стоне деревьев. В Японии знамениты местные песни. Они поются испокон веков. Есть «Песня каменотесов с острова Китаки». Поют только на этом острове. Песня протяжно-грустная, хотя припев такой: «Нет лучше камня, чем в Китаки!»

О Фудзи поют издавна. Эти песни по лиричности почти любовные. Они тоже никогда не стареют.

М. Нет, японцы часто поют в праздники и новые песни. Ты же сама слышала в Хиросиме...

К. В Хиросиме другое дело: протест против войны, призыв к миру. Опять-таки минорная песня: «Об умершей девочке в Хиросиме». Скорбные интонации, тоскливая напевность, грустные слова Назыма Хикмета.

М. На одном собрании я слышал речь японского писателя Хотта — он сказал, что о Хиросиме никто не написал лучше Хикмета. Ты не была в Японии в майские дни: по улицам распевались бравурные, боевые песни. В Миикэ я встретил рабочего-композитора. Его песни известны и у нас. В них — порыв борьбы, сжатые кулаки, раскаты грома в подземелье.

К. Конечно, есть и те и другие.

М. Да, есть и те и другие. В Синдзюку, токийском квартале веселья, у меня были контрастные переживания. Я приехал

туда в чудесной компании трех профессоров из университета Васэда — Тацуо Курода, Масао Маруяма и Кохей Тани. Двое говорили по-русски, третий хоть и не говорил, но понимал: он перевел «Кому на Руси жить хорошо». Профессора сговорились показать мне в тот вечер что-то приятное, но что — я не знал.

По дороге зашли взглянуть на мюзик-холл, оборудованный для парочек и совмещенный с кафе: в загончиках по два стула и маленький пюпитр, куда ставят чашки с кофе. На эстраде японки, крашенные под блондинок, по-английски пели песенки.

Затем с площади, ослепленной миганием реклам и похожей на парижскую Пигаль, мы свернули в узенькие темные улочки. По бокам были бары — у дверей орали зазывалы. В одном месте столик стоял снаружи — за ним пил совсем осоловевший, страшного вида клиент. Кажется, он уже ничего не понимал, но его терпеливо развлекали разговором две гейши, нанятый музыкант бренчал на струнах. Вторые этажи были заняты знаменитыми турецкими банями.

Пройдя круги ада, мы достигли цели. Профессора сказали:

— Вот и «Огонек».

Улыбаясь, они ввели меня в шумный зал. Он был полон. Юноши и девушки тесно сидели за столиками и, держа в руках нотные книжечки, хором пели. Мы протиснулись к эстраде, и там почему-то для нас сразу нашлись свободные места. Не успел я сесть и осмотреться, как запели новую песню — и в японских словах я услышал «славное море, священный Байкал...». Профессора так и впились в меня. Ждали, что скажу.

— Отец любил эту песню.



Моим японцам больше ничего и не нужно было.

На эстраде играли на рояле, аккордеоне и на чем-то вроде барабана. Молодой человек в серой фуфайке дирижировал.

Одна другую сменяли, как у нас говорят, «песни разных народов». На стене висел список песен, победивших на конкурсе,— среди них «Подмосковные вечера».

На столиках я ничего не увидел, кроме красных авокадосов, похожих на кофейники: за десять иен они высыпали из себя порцию орешков.

А люди — кто они? Пареньки в кепках. Девушки, похожие на работниц. Сидели не парами — с подругами, с товарищами, вперемежку, очень серьезно.

К. Как все сложно в современной Японии. У многих интересы ограничиваются дешевой, пошлой, развлекательной музыкой. Но другие, оставаясь веселыми, стремятся к серьезному.

Я уже рассказывала о встрече в Токио с нашей балериной Суламифью Михайловной Мессерер. К ней часто обращались профессиональные японские танцовщицы с просьбой выучить их классическому балету. Прибегали герлс из ревью — многим надоел механизированный канкан, они хотели почувствовать душу танца.

М. Да, в Японии сильна и здоровая струя в музыке. Есть хорошие оркестры и хорошие новые сочинения, и исполняются они в новых, современных залах с совершенной акустикой.

За здоровую музыку борется Общество рабочих — любителей музыки — Роон. В нем четыреста тысяч членов. Воздух борьбы коснулся меня, когда я был в доме музыкального критика Гиндзи Ямане.



Ямане только что уволен. Он был музыкальным критиком или обозревателем в газете «Токио симбун», а сейчас — безработный. Почему?

В Токио при нас проходил фестиваль «Встреча музыки Востока и Запада». Казалось бы, дело хорошее. Съехались знаменитости из многих стран и давали концерты.

Но фестивалю сопутствовала музыкальная конференция — и она все обнажила. Японцы разгадали, что задумывалась демонстрация против культуры социалистических стран. Устроителем фестиваля и конференции был русский эмигрант Набоков, прибывший с Запада.

К. Какой Набоков? Автор «Лолиты» — нашумевшего сексуального романа?

М. Двоюродный брат, Николай Набоков. Деятель, который родился, как он сам выразился, «в старом замке между Минском и Пинском». Композитор, среди других вещей сочинивший оперу «Конец Распутина».

Поднялись японские прогрессивные силы вплоть до Общества рабочих — любителей музыки и Генерального Совета профсоюзов, а это фронт из четырех миллионов людей. Был создан Комитет борьбы. Движение так разрослось, что летевшие на фестиваль артисты Британского Королевского балета, не разобравшись, в чем дело, даже перепугались: думали, что им придется спасаться из токийского аэропорта Ханэда на вертолете, как это было с Хэгерти — пресс-секретарем Эйзенхауэра. Но такие опасения были напрасны — борьба шла в корректной форме. Не оказалось и пикетов перед залами фестиваля. Ямане, рассказывая это, заметил:

— Пикеты были в наших душах.

Прогрессивные силы победили: музыканты свое сыграли, танцоры станцевали, но антикоммунистическая демонстра-

рация была сорвана. Зато Ямане, активного участника борьбы, вышибли с работы.

— Придется на свободе писать книгу о бесспорном Бетховене, — сказал он мне горько. Горько, но без малейших следов уныния.



К. Зато какое страшное уныние и ощущение безысходности у многих современных японских писателей!

Возвратившись из Японии, я прочитала сборник современных японских новелл. Понимаю, что трудно судить о всей литературе по немногим переводам, но все же скажу: сравнила новое со старым, давно известным — и сравнение оказалось не в пользу нового.

М. Опять ты посылаешь меня на поединок с гигантами классики! Вот досталась мне нагрузка... Люблю я японских классиков, сам люблю. Но ведь нельзя же с ними сравнивать. Вернее, сравнивать можно, но не затем, чтобы отвергать новое, менее совершенное, но живое, неизбежное, растущее...

К. Старинная проза Сайкаку, сверстника Басё, — это же шедевр! Его «Повести о любви» в предисловии Евгении Михайловны Пинус называются новеллами. Как же не сопоставить эти новеллы с современными? Сайкаку отделен от нас тремя веками, а как захватывает! Японские обычаи и нра-

вы, вереница пестрых событий. И острый, грубоватый, народный, лапидарный, совсем не архаичный язык.

М. Но никто же и не спорит. Этот японский Боккаччо великолепен. Как он нашел силы подняться на выпренность самураев, на ханжество и разврат бонз! Огнем реализма разогнал мрак средневековья. Осветил для нас простую душу человека, которая вызывает у него то жалость, то восторг.

К. Какой стиль! Вот что значит эпоха Гэнроку, великая пора искусства. Посмотри: чисто японское любование красками мира:

«Ночной ветерок, залетавший в окно, приносил аромат сливы, шуршали листья бамбука, кричали ночные птицы, и печален был шелест их крыльев...»

Вот как надо писать!

М. И переводить... Там есть вещи и посерьезнее, например: «Нет в мире существа более дерзкого, чем человек!» Подумай: это сказано в век расцвета буддизма. Но я предпочел бы, чтобы это было сказано сегодня.

К. Фантастические новеллы Уэда Акинари с привидениями, оборотнями, злыми феодалами, коварными и добродетельными красавицами наполнены очарованием сказки и народной мудрости. Два века назад!

А возьми японскую прозу более позднюю, уже перешедшую в двадцатый век. Ты сам восторгался новеллами Акутагава. Мы с тобой читали их еще в тридцатых годах. С Акутагава у меня тоже связано представление о Японии, о ее писателях... Большая эмоциональность, тоска по хорошему человеку, глубина внутреннего мира — со смутностью, неудовлетворенностью, «адом одиночества». В новеллах Акутагава такая же любовь и жалость к человеку, как

у Чехова. И, так же как Чехов, он глубоко национален. Его «Сад», по-моему, похож на «Вишневый сад»: та же безвозвратная грустная гибель прошлого, появление нового, грубого, сильного.

Что же я сейчас могу Акутагава противопоставить?

М. А не надо противопоставлять.

К. Я не согласна. Противопоставлять и соразмерять необходимо. Ведь мы только что говорили с тобой о молодежи, о воспитании, о будущем Японии. А может ли новая литература помочь молодому японцу?

Хотя бы вот эта книга современных новелл. Что там? Жестокость и болезненная эротика, страх и мистика, одиночество и смерть... Я думаю — наши составители отобрали ведь не самое страшное. Можно себе представить, что читает японец у себя дома.

М. К сожалению, читает массу вредоносной дряни. В современной японской литературе идет борьба — и я не отрицаю, что у передовых писателей успехов пока не так много. Но чем же бороться за нового японца? Бороться надо современными произведениями, а не прекрасными новеллами великой эпохи Гэнроку, которая была и кончилась в позднем средневековье.

К. Боюсь, что теми новеллами, которые я прочитала, за нового японца бороться нельзя. Вижу, современная новелла тебя не пугает и не расстраивает. Ты спокоен, а я волнуюсь.

Хочу тебе доказать: в сборнике около тридцати новелл разных современных японских писателей — и почти вовсе нет таких, где была бы здоровая радость. Обычно — животное счастье оттого, что не погиб от пули. Или удовлетворил чувственность. Или еще страшнее — выжил, съев труп своего товарища...

Гомигава с блеском описывает садистическое самодовольство палача Ватараи в ярко-желтых сапогах. Тот ловко отсекает мечом человеческие головы.

У писателя Дадзей женщина радуется своей мазохистической любви к пьянице, вору, развратнику, отцу ее сына-идиота.

Бывший солдат — герой новеллы Ибусэ — в припадке психической болезни, в состоянии экстаза, кланяется на восток воображаемому императору.

Кодзима обнажил галлюцинаторно-эротическую страсть и иступленную ненависть солдата к винтовке, его ужас перед войной и тюрьмой.

У Нома показано патологическое духовное опустошение бывшего солдата Китаяма. Эгоцентризм, большое одиночество.

Совсем как в клинике описан психологический больной у Эдогава. Он безобразен, близок к самоубийству, его гложет тоска по женщине. Натуралистический детектив построен по всем правилам фрейдистского высвобождения комплексов.

Прекрасно написана новелла Эндо «В больнице Журден». Но и там немало мрачного. Нужда, туберкулез, безнадёжность, одиночество, тоска и все затмевающая ненависть студента-японца во Франции к своему соотечественнику, который трусливо отрёкся от Японии и гадко пресмыкается перед всем европейским...

М. Я спокойно слушал. Здесь я прерву. У тебя получается так, будто я в восторге от всех этих ужасов. Но у меня не восторг, даже не терпимость, скорее отвращение... Однако эти чувства отходят на задний план, когда я напрягаю силы, чтобы понять — откуда же у современного японского писа-



теля такая чертовщина, чем она вызвана, что за ней стоит и, главное, что есть кроме нее?

К. Ну, давай подумаем, откуда идут эти ужасы. Может быть, это что-то чисто японское? Ведь мы столько слышали о самурайской жестокости.

М. О японской жестокости не знаю, что сказать. Для меня это нелегкий вопрос. С одной стороны, как будто в этом доля истины есть. Но я помню одну легенду: самураю приказали быть жестоким, он должен был постричь красивую девушку в монахини — и плакал. Жестокость, отягощенность, даже мрачность — а как сочетать с этим нежность, янжность, душевность старых японских поэтов?

К. Мне однажды говорили, что в японской народной сказке отсутствует идея добра. Но я с этим совершенно не могу согласиться.

Как и всегда в сказках, там живет добро и зло. Помню: злой дракон так жестоко поколотил бедную медузу, что у нее не осталось костей. Зато злая, ленивая обезьяна была поделом наказана. Лягушка получила рисовый колобок за трудолюбие. Добрая лисичка отблагодарила старика за то, что он спас ей жизнь...

М. Японцы очень деликатны, однако в современном японском театре на сцене я видел сцену пытки. Вздергивали на дыбу, текла кровь. И я вспомнил пытку в «Турандот»: у Вахтангова — шутка, а здесь — всерьез. Подарили мне книжку о борьбе против несправедливого обвинения рабочих по делу Мацукава: во всю обложку — искаженное от боли лицо человека под пыткой...

И при всем том японцы, по моим наблюдениям, сентиментальны. Впрочем, Блок где-то сказал, что сентиментальность и жестокость — родные сестры.



**Снова о
японском
характере**

К. Сентиментальны... Но как ты расценишь такой факт? Прочитала в газетах: отец, врач в Нагоя, делает анатомическое вскрытие собственному сыну, погибшему при катастрофе в горах. Этот доктор объяснил, что так нужно для науки.

М. Сложный вопрос... Может быть, и склонность к жестокому натурализму в какой-то мере пережиток жестокой эпохи японского феодализма?

К. Возможно, натурализм современных новелл проистекает из старой склонности японцев скрупулезно детализировать? Вспомни те же народные японские сказки.

М. Нет, это другое. В сказках есть какое-то обобщение, оно возвышается над мелкими штрихами природы. Главенствует идея. А у современных писателей, действительно, она часто тонет под тяжестью неприятных подробностей.

К. В общем, натурализм не так уж безобиден. Жизнь показывают отдельными кусками. Детали то непомерно увеличиваются, то микроскопически уменьшаются. Получается искаженное представление. Гибнет идея, теряется мысль. Это все приемы знакомые.

Молодой писатель Эндо — зачем он нагромождает отвратительные картины болезни и смерти? Такой талантливый, кажется, справедливый. По сравнению с другими — более естественный. И вдруг — уступки нездоровому воображению. Ясно, что это мода.

М. В какой-то мере — да. Но все же я не думаю, что дело так просто: начался американских и французских книг и стал писать. Подготовлена почва.

К. О почве и моде я хочу сказать в связи с Кэндзабуро Оэ, который был у нас дома. Творчество этого молодого, очень популярного в Японии писателя похоже на зигзагообраз-



**Подражание
эстетике
Запада**



**Колебания
писателя
Оэ**

ную кривую. На него оказывают влияние со всех сторон, и он поддается.

Вначале Оэ, насколько я знаю, был чем-то вроде антипода другого молодого писателя — Синтаро Исихара, который написал аморальный, уродливый роман о молодежи — «Солнечное племя», с убийствами, самоубийствами, эротикой, психозами и разгулом гангстеров. Оэ в своих новеллах вступился за подростков. И студенчество было ему благодарно. Но после стали появляться новые книги Оэ, где звучало злое разочарование, мотивы разрушения.

Это я знала до прихода Оэ к нам в гости. В Японии я ведь с ним не встречалась) Его фигура представлялась мне мрачной, неприятно замкнутой. Но пришел несколько застенчивый юноша со скромной улыбкой, приятно общительный, мягкий. И прежний его облик, созданный по его произведениям, у меня распался. Мне кажется, что я увидела пораженного модой...

Ирина Львовна, как ты помнишь, устно перевела нам в тот вечер страшную его новеллу «Чужие ноги». Действие происходит в туберкулезном санатории, где лежат больные, обреченные на вечную неподвижность. Все они признают себя отщепенцами, выброшенными из общества. Апатия, болезненная опустошенность. Появляется новый больной — прогрессивно настроенный студент, а с ним — бодрость, надежда. Но, излечившись, студент поспешно, как бы стыдясь своих больных товарищей, покидает санаторий. И после его ухода еще более сгущается атмосфера отчаяния и безнадежности...

Мы слушали, а напротив сидел реальный Оэ и, казалось, виновато улыбался.

Я спросила его шутливо:

— Разве у вас плохое настроение — пишете такие мрачные новеллы?

Он засмеялся. А потом совсем отверг своим поведением мои мысли о депрессии. С аппетитом грыз сибирские орешки, весело пил кофе. Сказал, что в восторге от медведя Гоши, который ездил в Токио с нашим цирком. Пишет об этом смешном звере сказочку для детей. Неожиданно проявил интерес к акушерству в Советской стране. Оказывается, его жена ждет ребенка, и он хочет, чтобы ей не было больно.

Я наблюдала за ним и никак не могла понять: почему вот этот милый мальчик — ему было двадцать семь лет, — такой понятный и простой, описал людей с ущербной психикой, извращениями и полной потерей интереса к жизни.

Как будто нам показали иллюстрацию к философии экзистенциализма: существование человека мыслится в полном бессилии перед лицом мира. Человек немощен, заброшен, полон отвращения. Он думает о неизбежной гибели. Так и чувствуется Ясперс: животный страх перед неотвратимой смертью, патологическое чувство, будто находишься на вулкане, «извержение которого наступит неизбежно».

Тут и философия абсурда Камю, и особенно мотивы Фрейда — всеисильная власть инстинктов.

М. У Оэ надлом внутри, а не снаружи. Он очень милый, а в душе — сумятица. Оттого что он милый, ему еще тяжелее. Мода модой, но его раздирают свои, японские противоречия. Он сам, наверно, не отдает себе отчета, какие силы ведут в его душе борьбу друг с другом.

К. И продолжает писать вещи хоть и очень яркие, но весьма пессимистические.

М. Переменить манеру мыслить нелегко.

К. Особенно когда к этому не очень-то стремишься. Не забывая его слова:

— Не желаю планоно мыслить!

М. Это фронда. Это в нем встрепенулись Фрейд, Ясперс, Камю, почуявшие опасность. В Оэ чужая философия нашла подходящую почву.

К. Не знаю, о какой особенной почве ты говоришь. Везде, где есть капитализм, выросло множество ультрамодных школ, которые называются по-разному, а говорят об одном и том же: о подсознательной фантазии, свободном потоке сознания, сексуальном символизме...

М. Да, это общий кризис капитализма. Но у кризиса в Японии свои формы, очень сложные. Там такое переплетение противоречий, что одной модой не объяснишь ужасов. У них своя реальная подоплека.

Я тебе расскажу сейчас о встрече с писателем Ёсиэ Хотта. Он высокий, смуглый, худой, длиннолицый — похож на индейца. Насмешливый, умный. Мы разговаривали вечером в гостинице токийского отеля «Хокусай Канко» за столиками с каким-то напитком...

К. Хорошо себе представляю. Низкие мягкие кресла, полумрак, который японцы очень любят, матовый абажур, за окном гудит лавина автомобилей и вспыхивают красные, зеленые, синие иероглифы реклам...

М. Все правильно. Так оно и было. Хотта вспоминал свою поездку в Советский Союз, выяснял мои впечатления от Японии и наконец спросил, как я расцениваю его книги.

Я ответил:

— Они великолепны, они ужасны.



Переводчика не было, говорили мы по-английски. Я был возбужден интересом встречи, обрадован прямым и открытым контактом, который сразу возник между нами. И я не позаботился о том, чтобы изложить свою мысль подробнее, яснее.

К. Просто, дорогой мой, тебе было нелегко это сделать по-английски.

М. Может быть. Только с тех пор я не совсем спокоен: а правильно ли понял меня Хотта? Не пожалей я времени на подбор слов, я бы сказал так:

— Ваши великолепные книги потрясли меня потому, что то, о чем они мне рассказали, ужасно.

К. Вот это другое дело.

М. До поездки в Японию из написанного Хотта я читал «Время» и «Шестерни». А сейчас, после Японии, прочитал «Памятник». И еще больше укрепился в своем мнении.

Во «Времени» и «Шестернях», как ты знаешь, Хотта осуждает агрессию своих соотечественников.

К. Фон там действительно страшный: разбой, насилия, звериная жестокость.

М. Но за ужасами видишь действительные противоречия жизни. Когда вчитываешься в «Памятник», тоже охватывает ужас. Но это ужас, так сказать, другого, более высокого рода. Тут мы тоже видим и коварного шпиона, и дикий разгул смертников, и человека, который спит с открытым глазом, и убийство насильника девичьими руками в страшный момент воздушного налета. Однако самое страшное не в этом. Страшное — в том душевном хаосе, который охватывает людей в романе, в муках их совести, в терзаниях, сквозь которые пробивается к обновлению главная героиня Ясуко.



Так и в новеллах, о которых ты говорила. Почему ты не увидела в них ничего, кроме ужаса? За их ужасами стоят трагичность японской жизни и растерзанность души японского писателя-интеллигента.

К. Вижу, что на тебя произвел впечатление тот юноша, писатель-литейщик, с которым ты встретился в Фукуока. «Интеллигентская слабость...»

М. Не во всех новеллах слабость, кое-где есть и борьба. Вот ты говоришь: «Гомигава описывает садизм палача». Но в этом описании, мне кажется, нужно видеть протест. К тому же это лишь отрывок из большого, очень активного антивоенного романа. Подробности в новелле Эндо жуткие, но, по замыслу автора, они должны служить ч утверждению национального достоинства японца. А мы видели с тобой, насколько это сейчас важно для Японии. Сложные взаимоотношения между солдатом и винтовкой у Кодзима — не только бред. Для автора это способ отрицания войны. То же и у Нома. Его солдат Китаяма патологичен. А это опять-таки своеобразное, ужаснувшее тебя своей формой отвращение к войне.

О Хироси Нома мы можем судить более основательно по роману «Зона пустоты», где рассказана история мучительных переживаний солдата Китани, жертвы интриг, разложения, жестокости, деспотизма. Повествование медлительное, лишенное ярких событий и результативных развязок, кто-нибудь даже скажет — вялое. Между тем именно ползущим темпом Нома передает гнетущую нудность жизни в японской императорской казарме, «зону пустоты».

К. У Нома показаны ужасы войны, слепая солдатчина, изуверства фашистов. Но он как-то слишком вежлив, когда ищет виновника всех этих бед. Помнишь, его герой Китани



ни на что другое не способен, как только обрушить гнев на своего ближайшего начальника.

М. Большой определенности я хотел бы и от «Тростника под ветром» Тацудзо Исикава. Но роман Исикава тоже антивоенный — и это хорошо.

Вспомни, там ведь тоже описываются страшные вещи. Честный издатель журнала Асидзава сгибается под давящей тяжестью цензуры, его сын Тэйскэ погибает в армейской мясорубке, невестка Йоко едва преодолевает обреченность вдовы...

Но эти ужасы уходят корнями в японскую действительность.

К. У Исикава глубокое понимание трагедии Японии, однако исход для него, мне кажется, тоже смутен.

М. Это верно. Недаром он назвал свой роман «Тростник под ветром». Для автора война — ветер, а японцы — тростник. Уподобление людей тростнику нам, русским, хорошо знакомо: Тютчев по-своему повторил образ из «Мыслей» Паскаля: «и ропщет мыслящий тростник...» Но ведь время и люди изменились. Не ропот мы с тобой услышали в Японии, а подземный гул.

Однако автор против войны, против реакции, против американского засилия — и это шаг вперед.

И «Памятник», и «Тростник под ветром», и многие другие романы говорят о больших, хоть и трагических сдвигах в душе японского интеллигента.

С японскими интеллигентами в самом деле произошло нечто трагическое. До войны одни из них были воспитаны в спокойном и бездумном преклонении перед «великой Японией», а другие хоть и отвергали войну, но в большинстве своем молчали. Многие цепенели перед живым бо-

гом — императором. Несправедливость захватнических войн не так уж волновала — войны были удачны и прибыльны. Философским сознанием владел многодумный Нисида, совместивший современный идеализм с буддийской отвлеченностью...

И вдруг все дрогнуло, распалось, поползло. Вторая мировая война, в которую бросились очертя голову, обнаружила материальную слабость Японии, необоснованность ее воинственной алчности. Сыновья гибли где-то в Южных морях, гибли ни за что, ничего своими смертями не искупая. Власти, предчувствуя конец и играя ва-банк, дошли до крайних пределов лживости, жестокости, насилия над личностью. Народ был ввергнут в невыразимые мучения. Общество разлагалось. Люди мыслящие оказались перед полным крахом своих верований, идей и надежд. Разгром открыл им глаза: Япония — не избранная страна, император — не бог, война — не священнодействие, а грязное преступление.



**Прозрение
нации**

Крушение, которое произошло в Японии, одно из самых поразительных крушений в наш век. Я говорю не только о военном крушении, а и о другом, не менее важном — идейном. Сквозь тысячелетнюю кору самурайского духа вдруг прорвалось отвращение японского народа к войне и шовинизму. Крушение оказалось прозрением!

Окончание войны спасло жизнь, но не избавило от душевных страданий: с одной стороны, как будто произошла некоторая демократизация, но с другой — появились американцы, а с ними потеря национальной независимости, снова вооружение, угроза новой войны...

Вот этот ужасающий распад японизма и тяжелая мо-

ральная драма интеллигенции и выражены у Хотта в «Памятнике», у Исикава в «Тростнике».

К. После войны прошло уже много лет...

М. Но японская интеллигенция не нашла покоя за это время. Нет, положение у нее и сейчас трудное и, главное, очень ответственное. Все это относится и к писателям.

Японская интеллигенция хоть и сделала большой шаг вперед, все же продолжает оставаться в смятении, в ощущении неблагополучия и нависшей опасности. Вот откуда ужасы в душе японского писателя.

Не нужно закрывать глаза на прогрессивные черты при всех этих ужасах. Надо видеть преодоление писателями ложного, казенного, несильного патриотизма, который в Японии существовал. Надо понять их стремление к «чаадаевской» любви к отечеству, которая содержит и отрицание.

Интеллигенция в Японии — явление сложное, со множеством напластований. Какие-то реминисценции буддизма, цепкие пережитки синтоизма, почерпнутые на Западе фрейдизм и экзистенциализм, сильная привычка к капитализму и в то же время смутное понимание его несостоятельности, поверхностное знакомство с марксизмом, недоверие к Америке, страх перед войной, тяга к нейтралитету... Будучи в Японии, я прочитал в газете «Джэпэн таймс» любопытную характеристику левых японских интеллигентов: недостаточно учитывают реальные факты, склонны к абстрактному теоретизированию и грешат в логике, но ставят американскую культуру ниже европейской и считают, что американо-японский договор ведет к войне.

Одно несомненно: при всем своем смятении японская интеллигенция в основной своей массе вместе со всем японским трудовым народом стремится к национальной не-



Где
причины
бума!

К. Возвратимся к разговору о бума. Все-таки как-то странно, что источником современного явления ты считаешь феодальные пережитки.

М. Ты не совсем правильно поняла меня. Я, правда, говорил о феодальных пережитках, о нищенской зарплате. Но это не непосредственный источник бума, а скорее питательная почва, на которой он возник. Толчком послужили факторы вполне современные. Есть что-то общее с промышленностью Западной Германии, хотя там нет таких пережитков.

К. Что же может быть общего? Только то, что и Япония и Германия были разгромлены в войне.

М. Неожиданная аналогия, однако не лишенная оснований. Куда падали бомбы, туда стали падать доллары. Вместо разрушенных войной или просто устаревших японские капиталисты с помощью американских стали строить новые заводы и фабрики. Многие из них, кстати сказать, возводились на месте скрытых холмов, на засыпанных заливах моря.

Стройки требовали цемента, металла, машин. Тяжелая промышленность росла, росли прибыли...

И еще аналогия: побитые страны некоторое, довольно короткое, впрочем, время после войны, пока не начали вновь вооружаться, не несли больших военных расходов.

А тут еще корейская война. Она послужила сильным

толчком. Американский милитаризм превратил Японию в свою базу, принес японской промышленности большие военные заказы и с ними — высокие прибыли.

Были в Японии для бума и другие условия: государство своей политикой воздействует на экономику в пользу монополий, перекачивает им часть средств, собранных налогами с народа; аграрная реформа несколько расширила рынок... И все это — на почве низкой оплаты рабочего.

К. А как сами японские бизнесмены объясняют бум?

М. Себе или собеседникам?

К. Ты был собеседником японских коммерсантов?

М. Был.

К. Расскажи.

М. В Токио в конце дня первого мая я отправился на встречу с господином Минору Такэда — президентом очень крупной судостроительной компании Иино. Эта фирма продала Советскому Союзу танкер «Дружба».

День был рабочий. Возле парка Хибия я вошел в громадный, только что отстроенный билдинг. Он похож на новейший усовершенствованный прибор. Оригинальное сооружение из железобетона, стекла и пластмассы, крытое площадкой для вертолетов. Поднялся в бесшумном автоматическом лифте — и в портативном кинозале просмотрел рекламную картину фирмы. Еще поднялся в бесшумном автоматическом лифте — и прошел в кабинет Такэда по глянцеvitому коридору, в котором за чистым столом перед телефоном и вазочкой с цветами сидела девушка и улыбалась.

Из окна я увидел крыши города и далеко внизу, у перекрестка, две большие пестрые полосы под прямым углом. Одна медленно текла — бесконечная колонна рабочих



с первомайскими красными флагами. Другая была неподвижна — заполнившая всю улицу колонна автомобилей. Демонстрация до сих пор продолжалась.

Я подарил Такэда деревянную коробочку из Хохломы и спросил, чем объясняет он процветание японской промышленности. Судостроитель, продумывая каждый слог, ответил:

— Трудолюбием рабочих.

К. Вот как! Был ли хозяин любезен?

М. Исключительно. Мало сказать, любезен — он был радушен, предупредителен. Предложил автомобиль — длиннейший автомобиль с бело-голубыми крыльями, — чтобы я мог поехать по японским деревням. Несмотря на расхождение классовых точек зрения, мы с Такэда настолько подружились, что в конце я услышал нечто грустное:

— Жизнь сложна. Стал агентом капитала. А ведь когда-то я слыл левым...

К. Не потому ли Такэда был приветлив, что принял тебя за покупателя?

М. Оставь. Он прекрасно понимал, что у меня не хватит денег на нефтеналивное судно. Просто он по-человечески добр.

К. Но ты все же интересовался коммерцией?

М. Да. Сначала я, как ты слышала, пытался выяснить, каковы пружины бума, а затем спросил — долго ли, по мнению Такэда, он продлится. Ответ оказался откровенным:

— Уже ощущаются трудности.

К. Легко быть откровенным в том, о чем пишут все газеты.

М. Такэда не знал, читаю я японские газеты или нет. А в газетах действительно били тревогу. Стрелка барометра

дрогнула. Дефицит японского платежного баланса наметился и раньше, но в мае он достиг опасных размеров. Я в Токио стал свидетелем: пришел час, когда капиталистический бум дал трещину.

К. Вот, оказывается, где источник грусти!

М. У тебя вульгарное социологизирование. Хозяин и гость были взаимно искренни, вот и все.

Дефицит платежного баланса обнаружил, что японская промышленность вошла в сильный конфликт с Америкой. К. Странно. Сейчас ты сам говорил, что именно Америка помогла создать новую японскую промышленность.

М. Помогла — и сама же обжигается, вот положение! А потому, что помогла из корысти. Разве мы не видели похожих примеров в Европе?

В Японию вложены доллары — зачем? Во-первых, ради прибыли. Японские прибыли соблазнительны. А во-вторых, — это всем известно: чтобы превратить Японию в ударную американскую силу на Дальнем Востоке. Пентагон считает, что японский солдат — лучший в мире. Американский военный обозреватель Хэнсон Болдуин сформулировал так: «Наши стратеги смотрят на Японию как на тихоокеанскую Германию».

Америка насквозь пропитала Японию, привязала к себе. Японские монополии на это пошли с удовольствием: без американской поддержки им бы вовсе не справиться с народным движением. И без американской поддержки не мечтать о реванше...

Часть выросшей японской продукции пошла на обновление основного капитала, на реконструкцию промышленности. А другую часть нужно продать широкому потребителю. Но где? В своей стране из-за низких заработков по-

требительский рынок узкий, много не продашь. Надо везти за границу.

Схожее положение было и раньше, до войны. Япония и тогда производила гораздо больше, чем мог впитать ее нищий народ. Но тогда она нахватала в Азии колоний — и конкурентов туда не пускала штыками. Теперь Азия стала другой. После военного разгрома Япония потеряла колонии.

Надо искать новые рынки. Японские торговцы делают это с удивительной ловкостью. Они борются с американскими и европейскими конкурентами не только в Юго-Восточной Азии, но и в Австралии, в Африке, в арабских странах, в Латинской Америке, всюду. Даже Западная Европа вынуждена защищаться от японских товаров.

К. Да, приходилось видеть. Сорочка из тетрона, которую, постирав, не надо гладить, — японская. Дешевый трехколесный автомобиль — японский. Кошелек из красной или желтой пластмассы для мелочи — японский. И, конечно, куклы.

М. Это совсем не тот экспорт, что был до войны. Тогда Япония вывозила текстиль. А теперь пошли суда, станки, рельсы, швейные машины, телевизоры, радиоприемники, детские механические игрушки...

К. Текстиль остался.

М. Остался, но изменился. Японские ткани теперь не только из хлопка или шелка, но и из синтетики.

Во все концы едут японские деловые люди, завязывают связи, вкладывают капитал. Едут инженеры. В ОАР строят сахарный завод, в Бразилии — металлургический. В Малайе добывают олово, в Индии — железную руду, в Мексике — медь, на Филиппинах пилят лес... Ошеломили англичан — не успели те оглянуться, а японцы уже добывают нефть на



отмелях Персидского залива. Чтобы возить эту нефть к себе в Японию, построили самый крупный в мире танкер, длину более чем в четверть километра.

Я слышал, что в борьбе с соперниками японские фирмы один раз не гнушаются мимикрией: на автомобильных колпаках ставят марку «Форд» или «Шевроле»... Но берут, конечно, не обманом, а все тем же сочетанием сегодняшней техники с вчерашней зарплатой.

Всюду японские товары встречаются с американскими. А главное — в самой Америке. Туда идет около трети японского экспорта.

Кто еще мыслит о Японии по старинке? Куклы, шелк, веера... Устарело! Япония вывозит в Соединенные Штаты много миллионов часов в год. В Соединенных Штатах применяются японские электронные микроскопы. Миллионы японских миниатюрных радиоприемников наводнили Америку.

Америка вскормила современную японскую промышленность — и та, окрепнув, заявила в Америку! Американские капиталисты не захотели терпеть и объявили бойкот японским товарам:

— Японцы, нечестно! Вы применяете социальный демпинг!

Провозгласили клич:

— Американцы! Будьте патриотами! Покупайте свое, американское!

Через правительство подняли таможенные заслоны. Обидели японцев.

Положение тем более деликатное, что ведь и американские товары продаются в Японии. Больше трети японского импорта — из Соединенных Штатов: продовольствие, хло-





**Бизнес и
«живая
вакцина»**

пок, фосфаты, уголь, металлический лом... Мешая продавать японские товары у себя, американцы в то же время добились, чтобы японцы не мешали им торговать в Японии. К. Вот теперь я понимаю, почему японское правительство долго не хотело покупать у нас «живую вакцину», верное средство против полиомиелита. В Японии применялась вакцина Солка. Эпидемия не затухала, дети умирали, оставались калеками. И только после упорной борьбы японских матерей и врачей правительство уступило. Недавно «живая вакцина» у нас куплена, полиомиелит пошел на убыль.

Американцы год за годом продавали японцам аппарат для облегчения дыхания при параличе — «железные легкие». Один аппарат стоит 800 тысяч иен! А если применять «живую вакцину», то и «железные легкие» не нужны...

М. Нельзя не улыбаться, когда видишь, как американцы и японцы, клянясь в любви, уязвляют друг друга. Все время с опаской следят, не подставлена ли ножка. Торгуются. Перекидываются взаимными упреками. Японцы — просят, американцы — требуют.

Положение у японских властей незавидное. Открыть шлюзы и пускать внутрь страны американские товары без ограничения? Валюта утечет. Трудно будет с платежным балансом. Закрыть шлюзы, не пускать американские товары? Тогда американцы примут ответные меры, не станут покупать товары у японцев, сократится движение валюты в Японию. Опять трудности с платежным балансом, но на другом конце.

Вот натянутая струна при мне и лопнула. Бум на время дал осечку.



Срыв

Акции падали, держатели, особенно мелкие, вмиг разорялись, по стране прокатилась волна самоубийств — стрелялись, травились, открывали газ...

Банкротились фирмы. Сокращалась загрузка фабрик и заводов. Премьер, обещавший «удвоение национального дохода за десятилетие», признал, что Япония очутилась перед сигналом опасности. Потом опять пошел подъем.

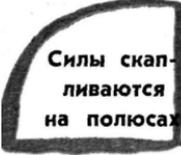
Что же ты не спрашиваешь: а откуда у Америки такая забота о валюте? Почему американцы так нажимают на друзей-японцев? Да потому, что самой Америке придется принимать меры к упрочению доллара.

К. погоди. Я все поняла. Прости за резкость: Америка всякий раз хочет грозящий ей экономический спад сбавить в Японию!

М. Отлично сказано. Именно так.



К. То бум, то спад, то снова подъем — а что же дальше?
М. Сегодня, несмотря на срывы, у японского капитализма есть силы не только жить, но и расти. Но, по-видимому, страна идет к кризису перепроизводства. Веревока продолжает виться, но тут же и заматывается в отчаянный клубок.



Силы скапливаются на полюсах

На одном полюсе накапливаются силы реакции, а на другом — силы прогресса.

Расскажу тебе об одной ночи в Омута, на шахтах Миикэ.

Ту ночь мы почти не спали. Пришли человек десять, сказали:

— Позвольте, товарищи, провести вечер с вами. Мы не знаем, когда еще увидим людей из Советского Союза. Не хотите ли послушать о нашей жизни?..

Шел час за часом. Я записывал. Цитирую по блокноту без обработки.

Нагаэ. 32 года. Мать, жена, два сына. Коммунист. В 1949 году уволили. Таких было много. Отдал все силы борьбе за обратный прием уволенных. Сплачивал безработных. Настаивали. Судились. Десять лет не имел заработка.

Нагата. 38 лет. С юности на химическом заводе. Учили: высшая честь — умереть за императора. Во время войны призван. Три года в казарме в Маньчжурии, затем плен в Сибири. Там понял, что такое капитализм и что такое социализм. После войны возвратился на химический завод, стал коммунистом. Как коммуниста, в 1952 году уволили. Активный деятель общества «Япония — СССР».

Араки. 36 лет. Сын швартовщика в порту. Десятый ребенок в семье. Брат погиб на фронте. Женат на вдове брата, с детства любил петь. Отца уволили. Хотел учиться в консерватории, но не было средств. После школы, шестнадцатилетним, поступил наладчиком на завод шахтного оборудования. Когда началась война, был ярым патриотом, «слугой императора». Работал на военном производстве. Было трудно, «давали под зад». После поражения Японии стал нигилистом. Увлёкся Достоевским и религиозной му-



Рассказы о жизни

зыккой. Но разразилась забастовка. Прошел школу борьбы. Многое понял. Достоевского сменил Горький. Вместо «Преступления и наказания» — «На дне». Стал сочинять песни для рабочих. Вступил в коммунистическую партию. Чрезвычайное событие жизни: одну из песен передало московское радио...

К. «Песню людей подземелья» Сакаэ Араки время от времени передают и сейчас, я ее слышала. Сначала голос, потом хор. Возмущение, порывистость все время нарастают... М. Руководит в Омута хором «Поющие голоса Японии». Это он, невысокий, моложавый, черноволосый, веселый, в белой рубашке, провозглашал с пульта: «Шахты, встаньте!» Считает, что «творчество должно войти в толпу». Сказал, что чувствует себя счастливым.

Идэ. Не из бедной семьи: предки — купцы. Учили: счастье японца — умереть за императора. После войны поступил сначала в колледж, потом в Киотоский университет. Принял участие в студенческом движении. Заболел туберкулезом, вернулся в Омута. Занимается торговлей. Интересуется строительством в СССР дорог, мостов, плотин. Изучает русский язык. Восемь лет в коммунистической партии.

Ямасита. 34 года. Рабочий-электрик. Семнадцати лет пошел добровольцем в морскую авиацию, стал военным летчиком. Считал, что умереть за императора — высшая честь. Был потрясен разгромом Японии. Охватила ненависть к СССР и Америке. Вступил в реакционную организацию «Знамя хризантемы». Стал опускаться. «Превратился в стилиягу». Перевели на худшую работу. Но пять лет назад был приглашен в «Поющие голоса Японии»: хороший тенор. Это был перелом. Весь отдался рабочему хору. Сблизился

с коммунистической партией. Затем вступил в нее вместе с женой. Они вступили в партию ради своего ребенка: только коммунистическая партия может помочь ему стать счастливым. «С женою вместе работаем над тем, чтобы построить такое же светлое общество, как в СССР».

Никогда не забуду тот вечер. Прошло время, но не перестаешь думать об этих хороших людях, рядовых коммунистах Японии — твердо веришь, что они никогда не изменят борьбе за мир, дружбе с нашей страной, чистоте коммунистических идей.

К. Визу: почти каждый из этих людей должен был сломить в себе культ императора. Я вспомнила наш с тобой разговор о синтоизме.

М. После войны японский император потерял прежнюю неограниченную власть и был вынужден отречься от божественного происхождения. Но для многих он и сейчас остался богом на земле. Сколько таких? Ответ на этот вопрос я хотел получить в день шестидесятилетия императора от него самого — сколько соберет народу?

Двадцать девятого апреля в Японии был нерабочий день. В обычное время экскурсанты толпятся перед мостом, ведущим через ров с водой к воротам в парк дворца. Этот мост — запретный. Но 29 апреля каждый мог пройти по нему, каждый мог увидеть императора Хирохито. Он показывался семь раз в день по пять минут. Расписание было объявлено в газетах.

Пошел и я. В потоке японцев вступил на мост. Поднялся на пригорок среди деревьев и среди полицейских чинов с золотыми аксельбантами. На поляне увидел трибуну. Подождал. И в назначенную минуту появился император — в черном костюме, с белоснежными манжетами и воротнич-



ком, как у дирижера, в золотых очках, с золотой цепочкой часов. Слева заняли место императрица в голубом платье и невестка в белом, справа — наследный принц и его брат. К. Я хорошо представляю «августейшую семью». Японские газеты показали ее во множестве снимков. Вот принцесса Митико гуляет с маленьким сыном Хиро на лужайке у дворца: рост мальчика 76,2 сантиметра, вес — 10,25 килограмма... Вот она с премьером осматривает фонтаны, сооруженные, как сообщает «Майнити», за 167 500 тысяч иен особым комитетом ко второй годовщине ее свадьбы. Из заметок можно узнать, как императрица, приложив букет и свои стихи, подарила сестре серебряный подсвечник весом в шесть килограммов для традиционного чаепития, как император с императрицей делали эскизы Фудзи с борта самолета...

Ну и что же — много народу пришло ко дворцу?
М. Я думал, что люди съедутся со всей Японии и будет очень тесно. Тесно не было.

Пока император стоял и время от времени поднимал правую руку, я всматривался в своих соседей. Студент в черном мундире и черном картузике кричал: «Тэнно Хейка банзай — да здравствует император!» Бритый старичок в фетровой шляпе счастливо улыбался: фетровых шляп весной в Японии сейчас никто уже не носит. Женщина с детьми и ее мать-старуха, становясь на цыпочки, с любопытством разглядывали жену наследного принца, молодую красавицу, дочь миллионера — короля мукомольной индустрии: сенсация заключалась в том, что принц Акихито впервые в японской истории женился на девушке без дворянского титула. Делегация пожилых людей с громкими возгласами

взддымала флаги и плакат, на котором было написано: «Общество желающих дожить до ста пятидесяти лет».

Я искал солидных мужчин среднего возраста, людей дела, людей с властью, движущую силу капиталистической Японии, — они пренебрегли.

К. Ты не увидел несметных толп перед императором. Зато я видела на Гиндзе флаг с фашистской свастикой: из окна свисало огромное полотнище. Может быть, это дело по-серьезнее.

М. С этим я согласен. В центре Токио, на Гиндзе, находится какой-то фашистский штаб. А всего в Японии несколько сот очагов фашизма под самыми неожиданными названиями: «Молодежный корпус восходящего солнца», «Общество сосновых игл», «Лига смертников по борьбе с коммунизмом»... Перед Первым мая почти все столбы в Токио были оклеены фашистскими плакатами и прокламациями.

Из фюреров я больше всего слышал о Бин Акао, главе «Патриотической партии великой Японии». Он заявил о себе так: «Бог предопределил мне стать японским Гитлером».

Люди дела, те, что не сочли нужным явиться на день рождения в сад дворца и смешаться с толпой, заняты другим: многие из них втихомолку подкрепляют фашистов деньгами. Нагнетается страх. Сколачиваются заговоры. Прогрессивные деятели вынуждены завести телохранителей...

Семнадцатилетний парень ворвался в дом издателя, вонзил нож в его жену и служанку. Другой семнадцатилетний заколол кинжалом председателя социалистической партии Инэдзиро Асанума, когда тот произносил речь.

К. Совпадение: семнадцатилетние.



М. Не совпадение. До этого возраста по японскому закону слабее наказание. Легче завлечь, подговорить.

К. Теперь понимаю: именно на этом построен роман Оэ «Семнадцатилетний», — я читала в рукописи. Там показано, как ребенка к семнадцати годам превратили в фашиста. Он убивает и сам кончает самоубийством.

М. Убийства стали в Японии средством политики.

В Токио я ездил в район Канда побеседовать в профсоюзе учителей с его председателем Такэси Кобаяси. Это высокий, мужественный, умный человек, уроженец северного острова Хоккайдо, бывший учитель. Профсоюз учителей — самый большой из японских профсоюзов и один из самых боевых. «Самый страшный для правых», — сказал мне обаяси.



Профсоюз защищает не только заработок педагогов, но и демократический характер образования: реакция пытаясь мало-помалу возвратить школьное воспитание к прежним, довоенным формам — из учебников исчезают слова «право трудящихся», учителей принуждают связывать историю страны с императорским домом, заставляют разучивать со школьниками военные песни. Непокорным снижают зарплату, переводят их в отдаленные места, просто увольняют...

Обо всем этом рассказал Кобаяси. Одно лишь забыл упомянуть: уже не раз пытались его убить. А я знал, что еще в 1958 году на острове Сикоку фашисты напали на Кобаяси, когда тот выступал перед учителями. В 1961 году, незадолго до нашей встречи, Япония узнала о новой попытке покушения, предотвращенной случайно: вождя учителей на улице ждал с ножом фашист семнадцати лет.

Озверели крайне правые. За нож схватились фашисты. Чем это вызвано? Тем, что на другой стороне баррикад все выше вздымаются волны народного протеста и гнева.



Порывы тайфуна

К. Вот, наверно, такой всплеск народного гнева ты и увидел у своей гостиницы «Токио Гранд-отель». Только непонятно, при чем тут гостиница.

М. Я тоже сначала не знал. Услышал громкие голоса и четкий топот, выглянул в окно: катится лавина молодежи. За нею едут полицейские в автомобиле. Юноши и девушки, сжав кулаки, возбужденно бегут. И в такт коротким шагам с яростью выкрикивают японский боевой призыв, будто вонзают копье:

— Вассэ! Вассэ! Вассэ!

Я спустился на улицу. И там все понял: оказывается, рядом с «Токио Гранд-отелем» — резиденция премьер-министра. Бывали дни волнений, когда этот коричневый двухэтажный дом за каменным забором полицейские защищали колючей проволокой. Здесь народ держал в осаде премьера Киси до его отставки. Сегодня студенты протестовали здесь против военной базы Ниидзима.

На островке Ниидзима крестьяне выжигали древесный уголь и выращивали камелию. Их земли заняли под полигон для управляемых снарядов и ракет. Крестьяне возмутились. Дошло до жестоких сражений. На помощь кре-

стьянам плыли из Токио добровольческие отряды, на помощь полицейским — фашистские банды... И я услышал отголосок этих битв.

Весь народ кипит ненавистью к базам американским и японским. В борьбе с ними люди не знают страха, не жалуют себя. Двести рыбацких лодок пять часов не давали американским военным кораблям ставить мишени у морского берега. На одном американском полигоне крестьяне уселись возле мишеней, приняли на себя первый выстрел танков — и с риском для жизни положили конец стрельбам...

В бурном народном гневе выливаются накопленные обиды — бедность и унижение. Поэтому демонстрации так иступленно яростны.

Я миновал резиденцию премьера и вышел к парламенту: он наискосок. Большое, тяжелое темно-серое сооружение. Впереди — асфальтовый двор, огороженный решеткой. Сзади прихотливый японский сад.

Спустя несколько дней я был внутри этого здания. Меня любезно принял депутат парламента от либерально-демократической партии господин Масакацу Нохара, человек солидный, молчаливый и корректный. Провел по разным кабинетам и салонам, показал нижнюю палату и золоченую комнату императора, пояснил, что здание целиком выстроено из отечественных материалов, рассказал, как его гостеприимно встречали в СССР, угостил чашкой кофе, — в политику не вдавался.

А я смотрел на прусское благолепие, прислушивался к настороженной тишине и по знакомым фотографиям рисовал себе маневры полицейских и рукопашные бои — вон там, у кресла спикера, или здесь, у скамей оппозиции...



**Поле
битвы**

Как раз в те дни правящая партия решила больше не пускать на заседания парламента корреспондентов с телевизионными камерами и с радиомикрофонами. Не прошло и месяца после моего посещения, как здесь вспыхнула новая жаркая схватка.

Но еще более сильные бури бушуют не в японском парламенте, а у стен его. Подойдя к парламенту в первый раз, я не столько обозревал самое здание, сколько всматривался в мостовую вокруг.

Асфальт этот видел демонстрации с факелами. Петиции с миллионами подписей. Долгие сидячие забастовки. Штурм забаррикадированных ворот. Камни, летящие в окна. Облитые бензином и пылающие полицейские броневики. Взрывы слезоточивых бомб. Избиение безоружных палками с гвоздями. Сотни раненых и изувеченных,— все автомобили скорой помощи Токио не справлялись с работой...

У сосновых деревьев между крылом парламента и станцией метро я остановился: мне показали место, где была тяжело ранена студентка Митико Камба, вскоре умершая в полицейской больнице. Сюда в траурные дни пришли поклониться тысячи людей, каждый принес гвоздику или лилию.

Площадь перед парламентом, оцепленную полицейскими с ремешками на подбородках, я еще раз увидел Первого мая.

Утром в западной части Токио, в парке Мэйдзи около стадиона¹, собралась масса народу. Люди сплошь запол-

¹ Как раз здесь была часть сооружений для Олимпийских игр 1964 года.



нили громадный плац. Надели на лбы узкие белые полотняные повязки, на которых иероглифами написано название профсоюза. Подняли над головами красные флаги, яркие бумажные ленты, пестрые шары — и суровые плакаты, которые возглашали языком категоричным и кратким:

- Повысить зарплату!
- Укоротить рабочий день!
- Привет советскому народу!
- Долой американо-японский военный союз!
- Куба — да, янки — нет!
- Да здравствует Гагарин!

А еще выше, в солнечном небе, с устрашающим стрекотом носились вертолеты полиции.

Повсюду пели, собравшись в кружки и отбивая такт рукой, — заметил я, что любят «Смело, товарищи, в ногу». Танцевали японские танцы. Собирали деньги бастующим. Торговали едой в кооперативных ларьках. Что-то пекли и жарили в самодельных кухнях — палатках...

Мне показали группу бедных рабочих — «никоен». Им перепадает временная работа в виде вспомоществования: 240 иен за день труда. Почти на уровне девушки из Симоносеки: семь рыбных сосисок.

Люди прослушали речи своих лидеров, говоривших с высокой трибуны, которая была огорожена проволокой и зорко охранялась верными людьми. Одобрили резолюции. И, проявив удивительную организованность, образовали из клокочущего моря пять рек — пятью длиннейшими колоннами двинулись в пяти направлениях. У нас демонстрация колоннами сходится в центр — здесь, наоборот, колоннами расходится из центра.

Колонны шли медленно. Видно, избегали провокаций:



**Народ на
улицах**

красными знаменами, как это бывает на японских демонстрациях, не размахивали — несли их на вытянутых руках. Знаменитая японская «змейка», которая бегущим потоком людей вьется по улице от тротуара к тротуару и все смеет на своем пути, была запрещена. Она лишь иногда прорывалась у молодежи и сразу вносила боевое возбуждение, но руководители колонн быстро вводили ее в рамки. Я заметил, как спешили полицейские фотографировать: запасали материал для обвинения.

Одна из колонн много часов проходила мимо парламента.

По плану первомайской демонстрации, который был заранее напечатан в газетах, эта колонна направлялась мимо парламента в район Симбаси. В то время в другой части города собрались члены фашистских партий, чтобы противопоставить себя рабочему празднику. И в районе Симбаси молодые фашисты напали на колонну. Бин Акао, желающий стать японским Гитлером, сидел в тюрьме за подстрекательство семнадцатилетнего к политическому убийству, но перед Первым мая главаря черной сотни освободили под залог — и он в тот день произнес в Симбаси перед головами зажигательную речь...

Раньше я загадал сравнить — сколько японцев 29 апреля соберется в дворцовый сад и сколько Первого мая выйдет на улицы под красными знаменами. Цифры такие: императора почтили 84 тысячи, Первое мая праздновали в Токио 650 тысяч, а по всей Японии — более 6 миллионов.

Перед отъездом я собрался к перевалам Хаконэ.

— Надо же проститься с горою Фудзи, молчаливым символом Японии, — сказал я поэту Тэйскэ Сибую.

Но тот ответил:



— Простите, я поправлю. Эта гора перестала быть молчаливым символом прекрасной Японии. Перестала быть с того часа, как началось народное движение против полигона на ее склонах в Хигаси. С тех пор как не дали американцам установить радар на вершине. Сейчас, когда мы с вами говорим, три тысячи крестьян вышли на поля у подножия горы и бесстрашно стоят там под жерлами американских пушек. Фудзи для них и для всех нас стала символом борьбы за свободу Японии.

К. И что же? Увидел ты Фудзи с перевалов Хаконэ?

М. Нет, так и не увидел. Вулкан затянула влажная майская дымка. Ждал до последнего часа, но напрасно. Я должен был лететь. И улетел на французском самолете — совсем один среди чужих.

К. Не увидел. Как горько. Я часто слышала от тебя: «Не так просто...» Мне почему-то хочется вспомнить японца Исикава Такубоку:

О да, я верю,
Что новое завтра придет! —
Нет в этих моих словах
Ни капли неправды,
И все же...

М. Ты не дала досказать. Прежде чем мне пройти высоко над синим океаном, над бетонными аэродромами Тайваня, прежде чем приземлиться среди тесных бухт и застроенных холмов Гонконга на насыпной полосе, такой узкой, что крылья «Боинга-707» свисали над морем, прежде чем увидеть рикш, которые бегут, на ходу стирая со лба пот полотенцем, прежде чем в долгом одиноком полете пересечь Южный Вьетнам, и Камбоджу, и Бирму, прежде чем

в Дели на аэродроме Палам, в одном прыжке от Ташкента, в кромешной ночной тьме вздрогнуть вдруг от молодого женского русского голоса, — самолет пробил облака над Токио, земля ушла вниз, скрылась под белой рыхлой пеленой, и над ней в лучах солнца, на экране голубого слепящего неба, взмыла передо мною, вровень с летящим крылом, вершина горы — свободной, чистой, будто отлитой из сверкающей платины.





О Г Л А В Л Е Н И Е

Древность и прогресс	13
Японцы и мы	65
Мир и война	99
Японка и общество	125
Молодежь и будущее	161
Красота и труд	193
Поэзия и правда	233
Гнет и борьба	269



Михайлов Николай Николаевич
Носенко Зинаида Васильевна

Я П О Н Ц Ы

М., «Советский писатель», 1965, 308 стр. 24 илл.
Тем. план выпуска 1965 г. № 336

Редактор **Г. Э. Винникова**
Худож. редактор **В. И. Морозов**
Техн. редактор **И. М. Минская**
Корректор **В. Н. Стаханова**

Сдано в набор 12/XI 1964 г.
Подписано к печати 6/IV 1965 г.
А 03827 Бумага 70X108^{1/32}
Печ. л. 95/8 24 полосн. илл. (14,52)
Уч.-изд. л. 14,63. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 169. Цена 59 коп.

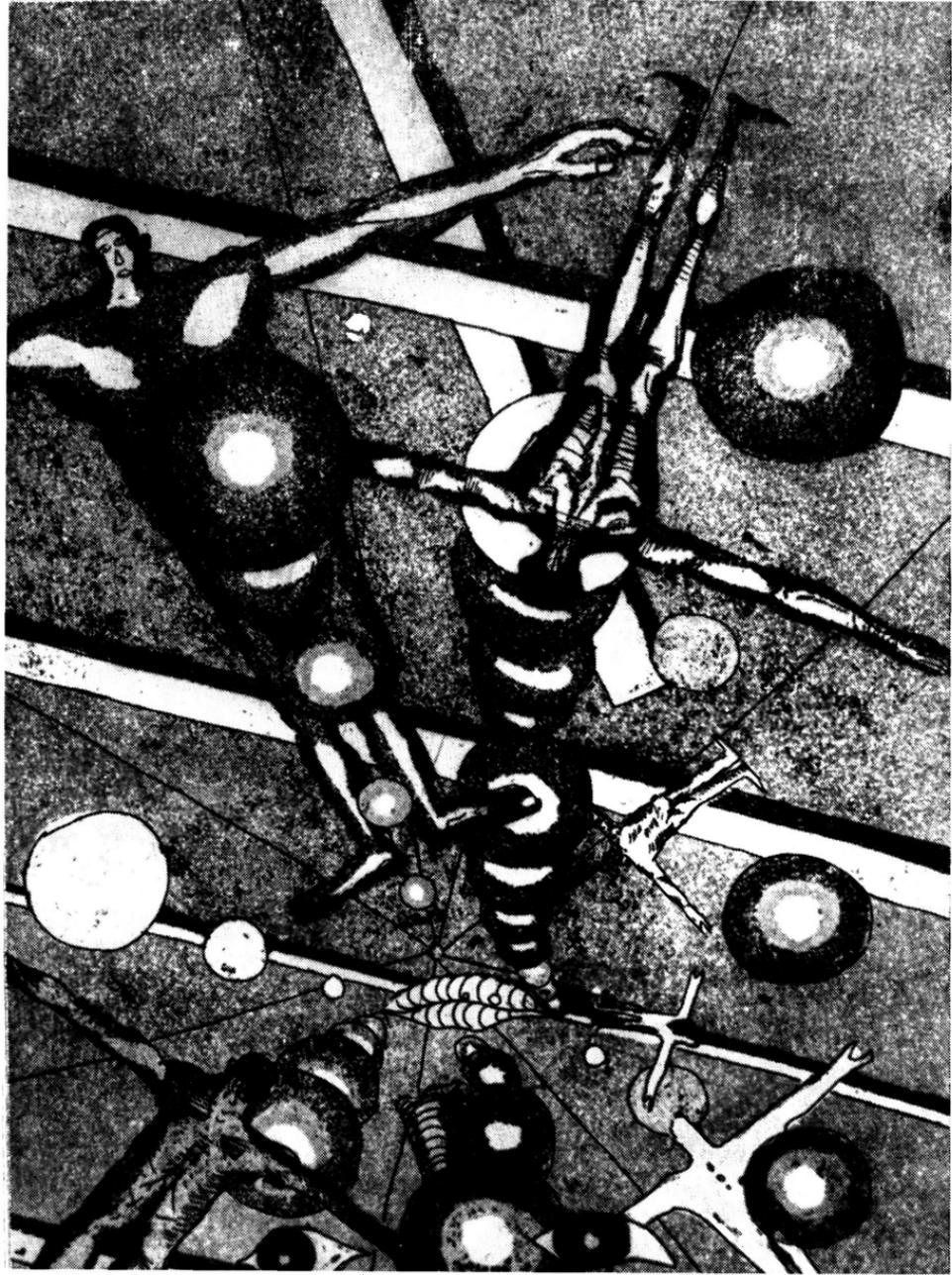
Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.



На телевизионной башне в Токио





Сигуру Ода — «Любовь»



Кихэй Сасадзима — «Вид Фудзи на окраине города»



Кэндзи Судзуки —
«Верните жизнь
моему ребенку!»

о «Хиросима»

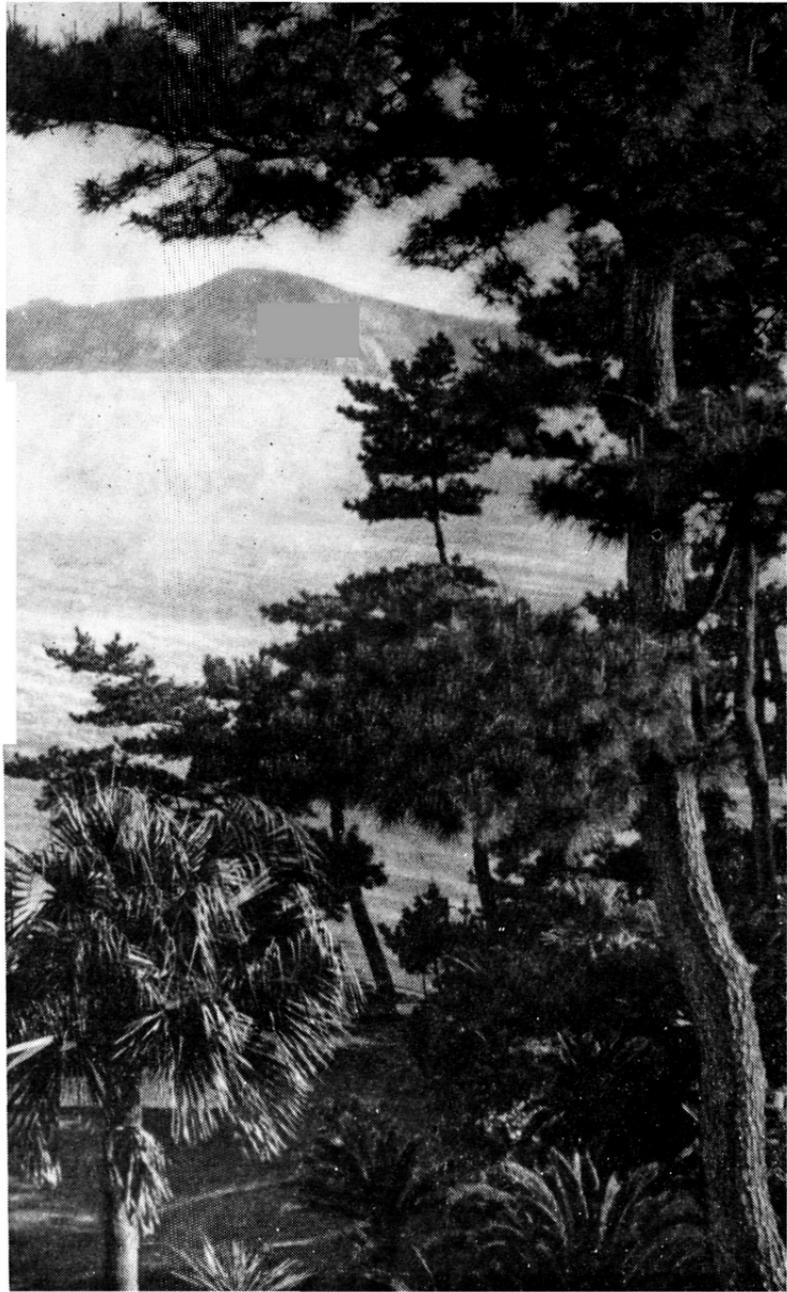
Ири и Тосико Маруки. Ф



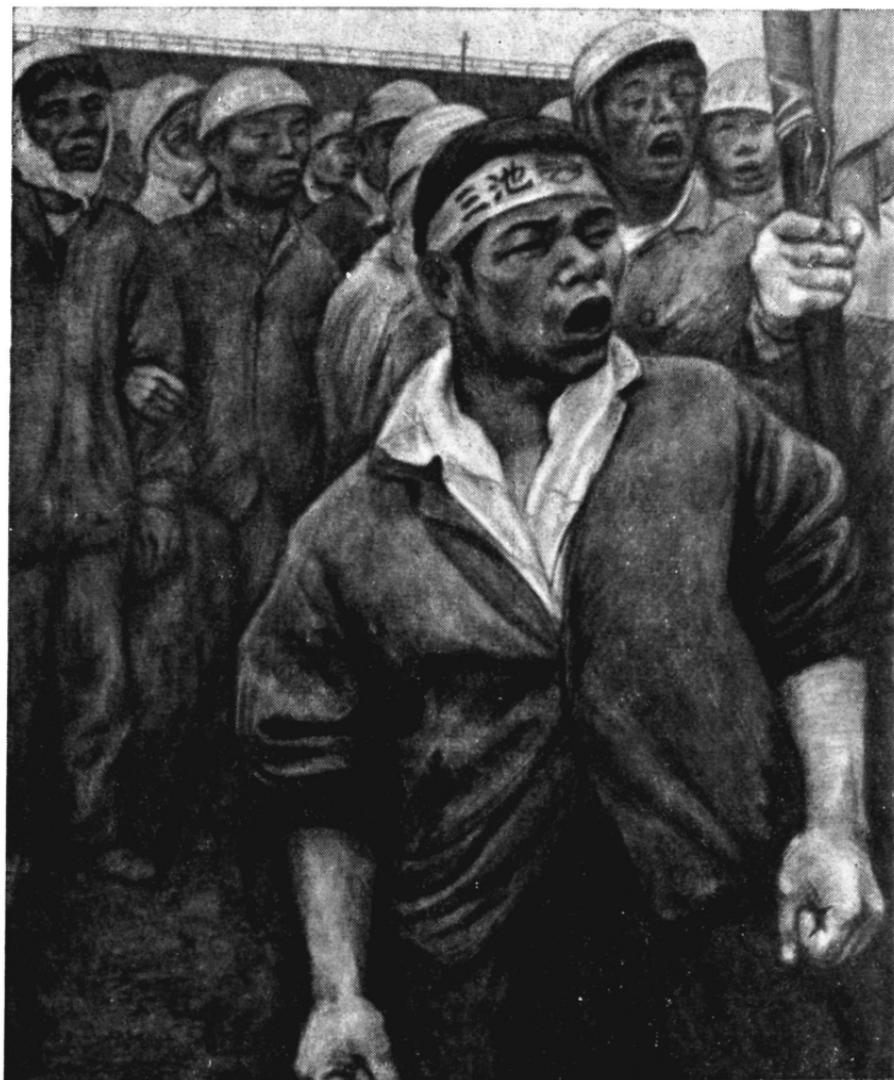


Томоо Инагаки — «Шестиве кошек»

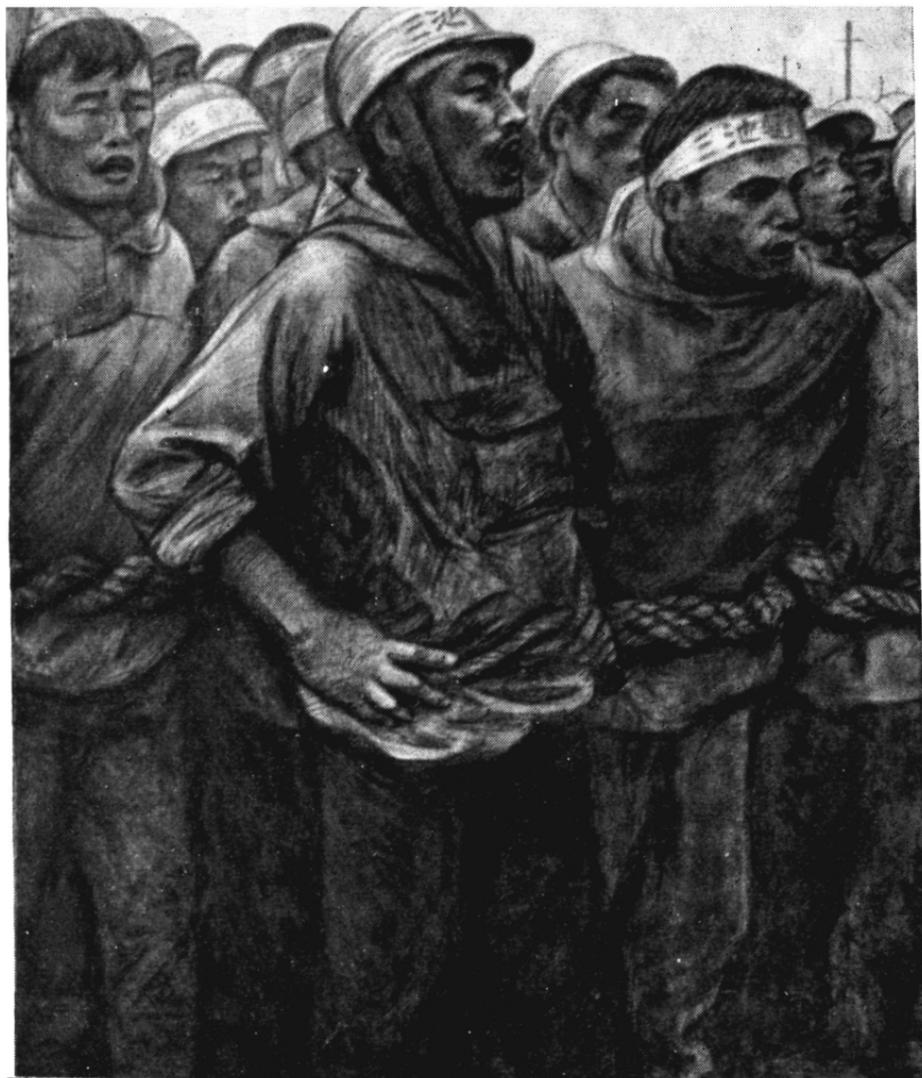
Берег Японии



Тосицугу Есида —

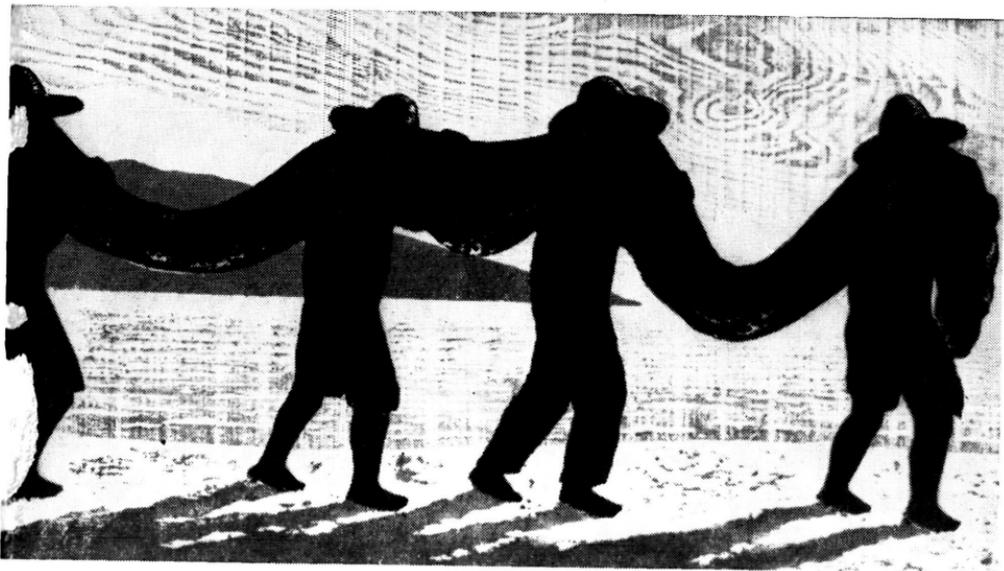


«Шахтеры Миикэ»





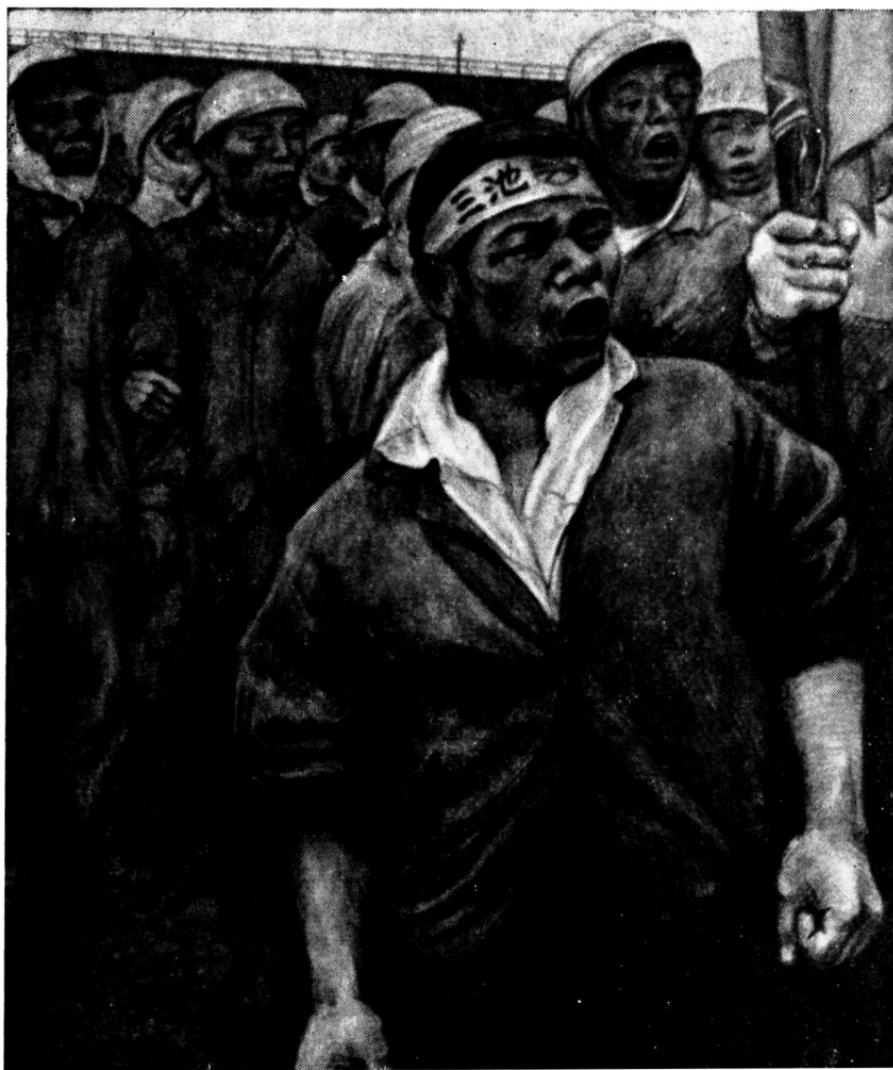
Есиэ Мураками — «И сегодня не кончили»



Родзин Танака — «Голод»



Тосицугу Есида —

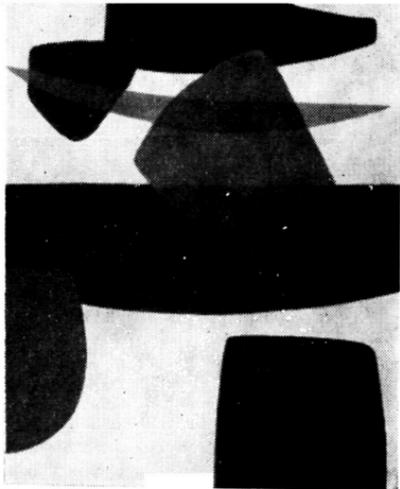




Первомайская колонна перед парламентом



Гэндзи ро Мита—
«Земля становится полигоном»

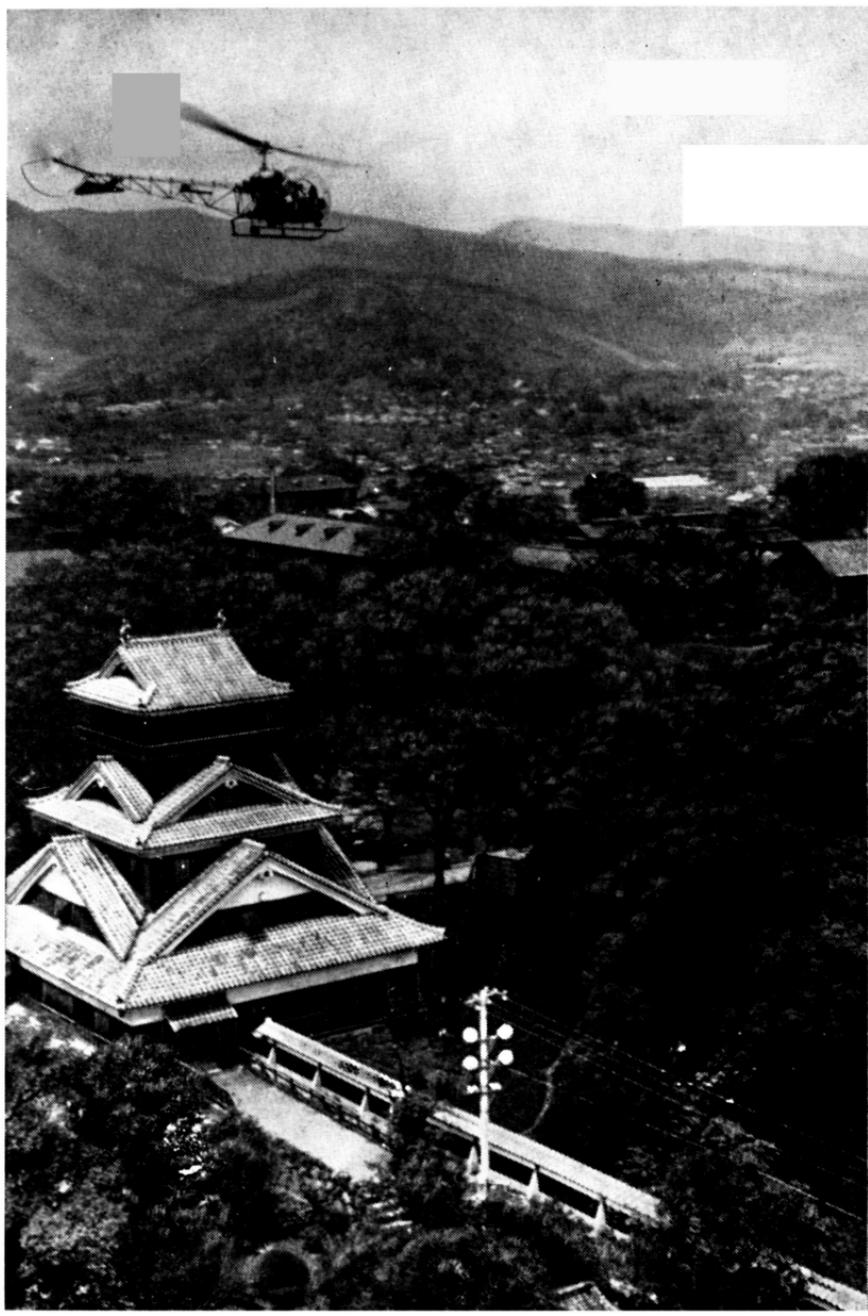


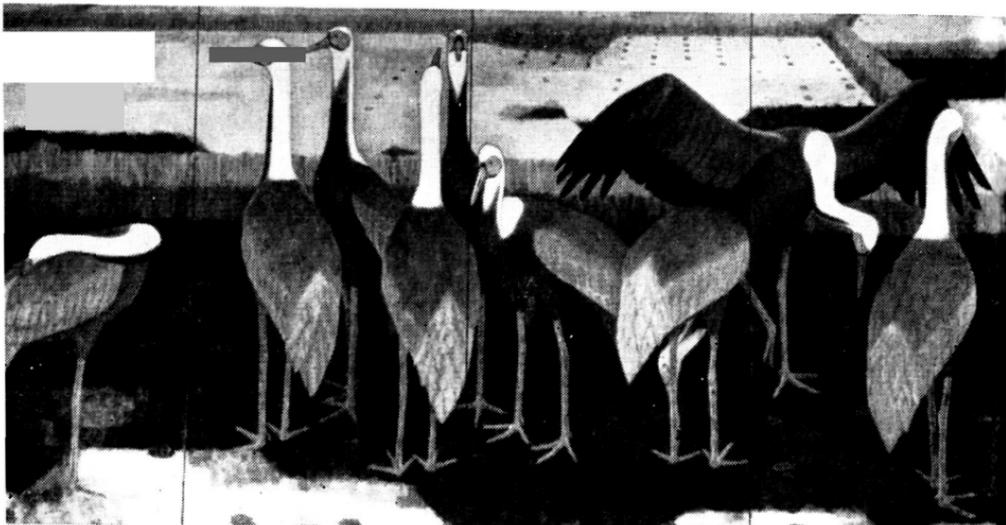
**Есиэ Комацу —
«Работа»**

**Маи Масано —
«Портрет женщины»**



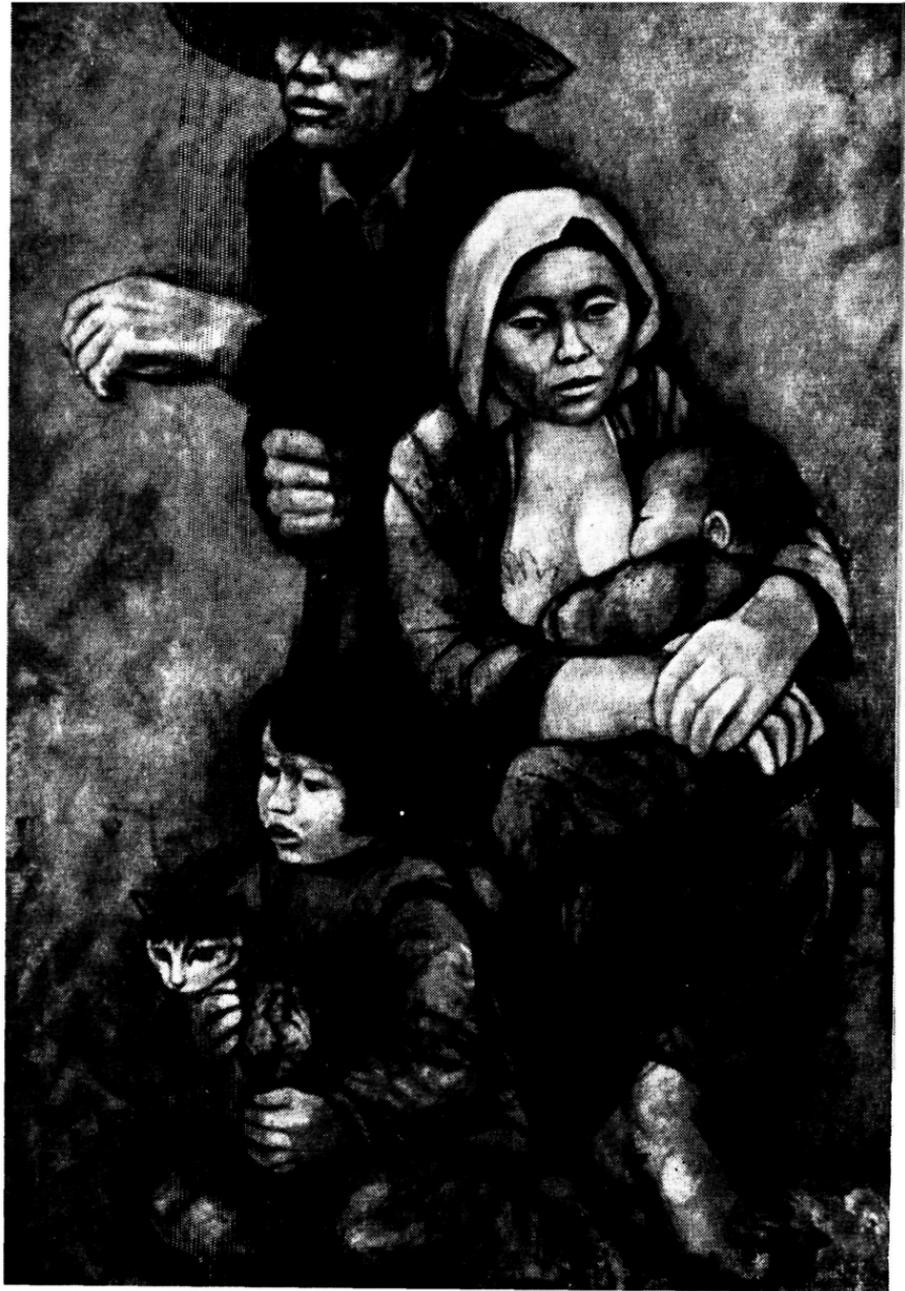
Над древним замком в Кумамото





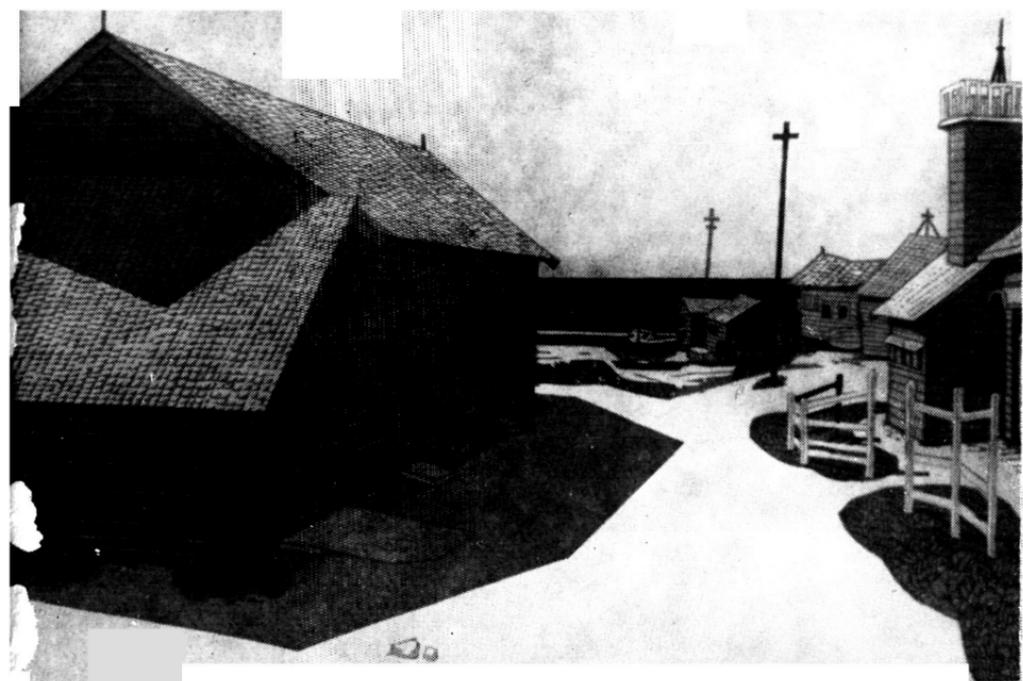
Сикэй Хигаса —
«Зима на полях»

Энноскэ Кихути — «Семья»



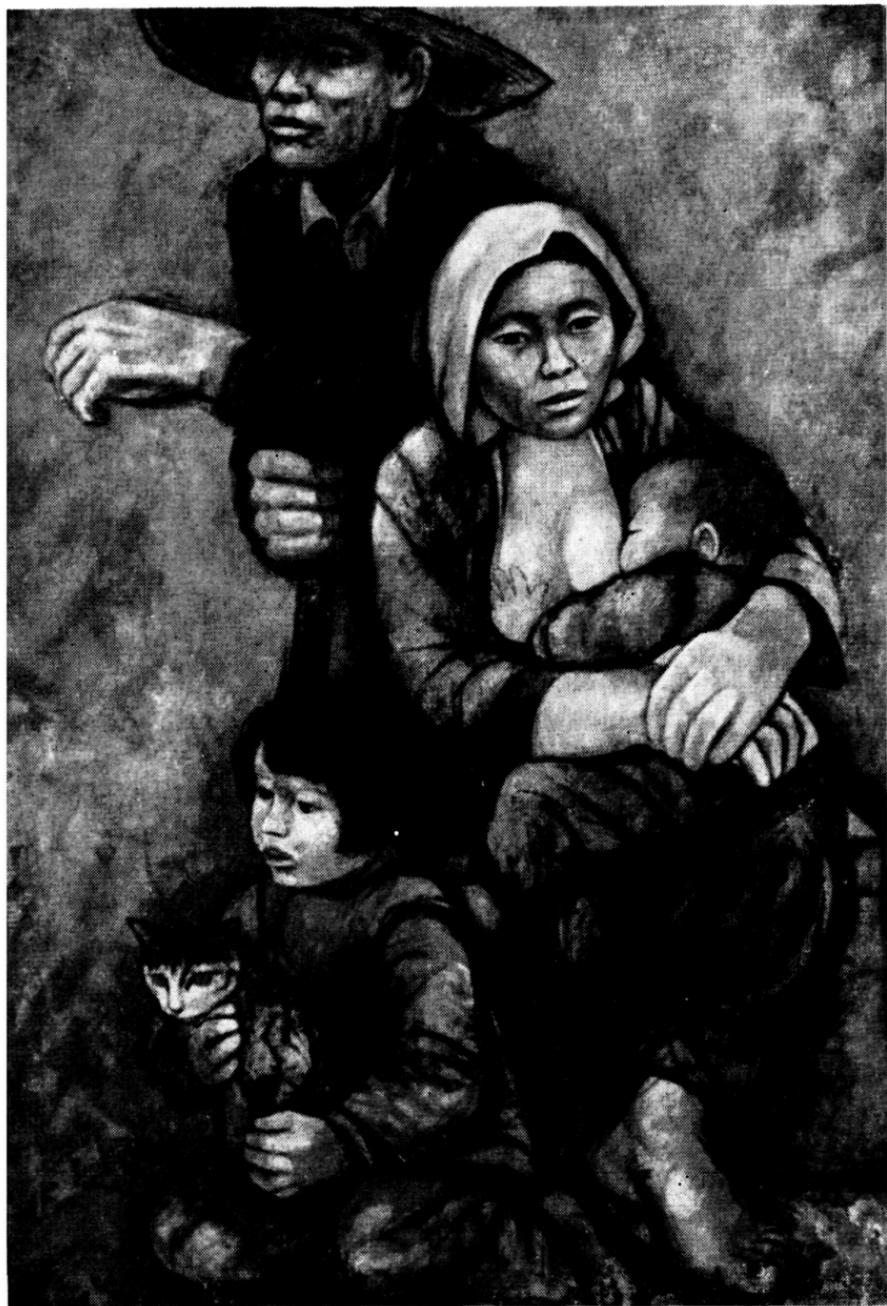


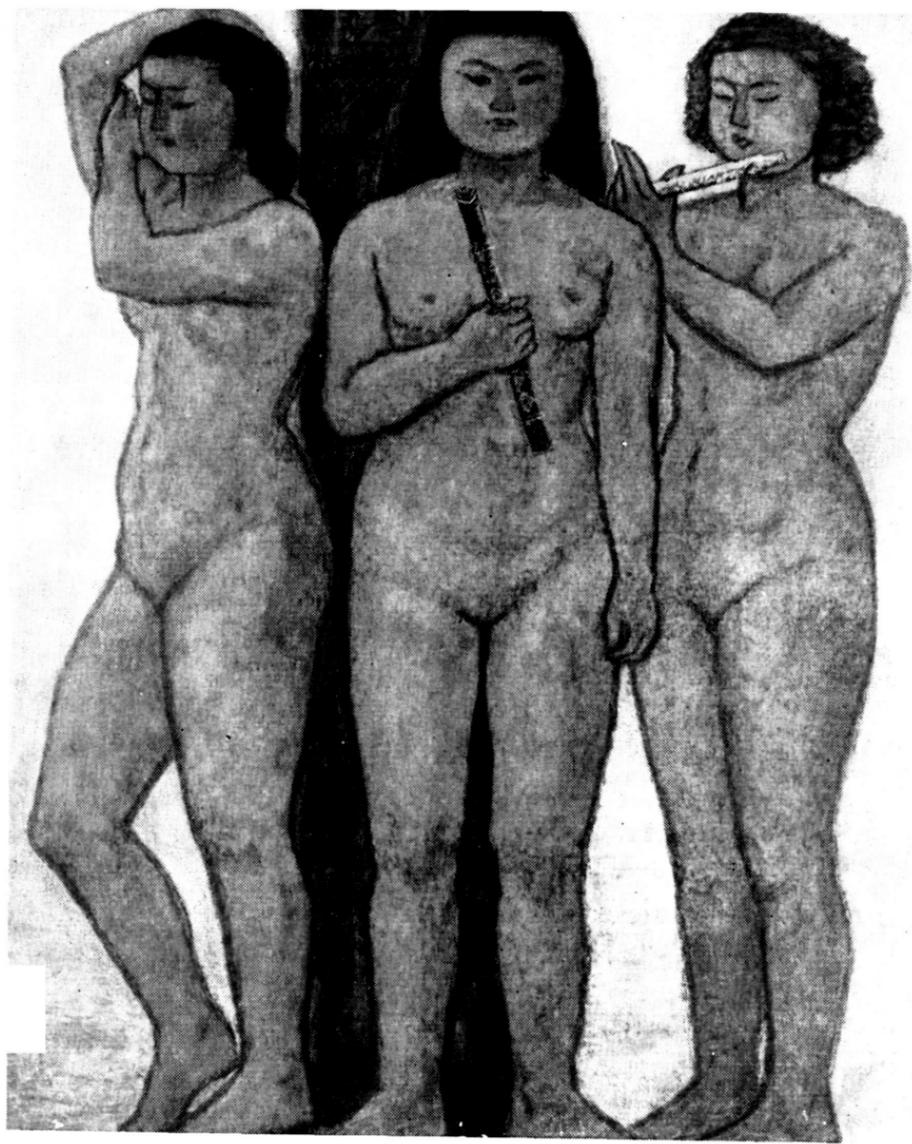
Улица в столице



Фумио Китаока — «Рыбачий поселок в полночь»

Этноскэ Кихути — «Семья»





Харауэ Нисикава — «Видение в храме»



Миноро Окамото — «Приближается тайфун»